

НИНА  
ДАШЕВСКАЯ

ЛЕНЬ

ЧИСЛА

ЛУ



Встречное движение

Нина Дашевская

**День числа  $\Pi$**

«Самокат»

2018

**Дашевская Н.**

День числа Пи / Н. Дашевская — «Самокат», 2018 — (Встречное движение)

ISBN 978-5-91759-585-6

В школе Лёву Иноземцева считают странным. Единственный человек, с которым он нашёл общий язык, как назло, садится за одну парту с тем, кто насмехается над Лёвой больше всех. А ещё Лёва Иноземцев любит музыку, потому что она логична. Жалко, мало кто это понимает. Нина Дашевская — автор восьми книг для детей и подростков, лауреат литературных премий «Книгуру», «Новая детская книга» и премии им. Крапивина. «День числа Пи» — это диалогия о дружбе и любви, о том, как непросто принять себя и услышать другого.

ISBN 978-5-91759-585-6

© Дашевская Н., 2018

© Самокат, 2018

# Содержание

День числа «пи»	6
Сальери	42

# **Нина Дашевская**

## **День числа Пи**

© Дашевская Н., текст, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом “Самокат”», 2018

\* \* \*

## День числа «пи»

Меня зовут Лёва, я из Москвы, я школьник. Это по английскому задание, написать по образцу. Считается самым важным именно это: кто ты, откуда... Хотя на самом деле важно именно то, что я Лёва. Именно этот набор звуков обозначает меня. Вот это сочетание звуковых волн: мягкое «ль», твёрдое «в»... Хотя «в» никогда не бывает таким уж твёрдым. Звуки мягкие, а имя суровое: «Лев». Если бы у меня было другое имя, я был бы другим. Может быть, не таким странным.

То есть странный не я, а люди вокруг. Но их большинство; так что приходится играть по их правилам.

Смотрите сами: если в моём классе всего два человека пишут без ошибок, ставят запятые в правильных местах... это значит, мы с Соней ненормальные или все остальные?

Или на математике сегодня объясняли: любое число в нулевой степени равно единице. Это логично: если умножить его на себя, то оно станет само собой, в первой степени.

Никто не понял, кроме меня. Это значит, я псих, да? Я и учитель, нас двое.

Что ж, тогда я не хочу быть нормальным.

\* \* \*

В нулевой степени мы все одинаковые, равны единице. И нужно нас умножить на самих себя. Тогда мы станем собой и будем все разные. Очень красиво и понятно, всё совпадает; у чисел такой понятный и человеческий мир. Очень разумный и с ясными правилами. А если возвести меня в отрицательную степень...

– Лёва! Что опять случилось?!

– А?

Дедушка. Вышел меня встречать, будто я сам не дойду из школы.

– Лёва, Лёва, тебя что, опять били?..

– Никто меня не бил.

Это правда. Я точно помню, что меня не били. Кажется, я сам его двинул. Ну, так. Потому что Комлев идиот и по-другому не понимает. Но точно не помню вообще. Неинтересно же думать про такое; я и забываю сразу.

– Значит, меня опять в школу вызовут? – вздыхает дедушка.

– Знаешь, – говорю я, – чему равно любое число в нулевой степени?

– Единице, – отвечает дедушка и почему-то опять вздыхает.

Ну вот, нас трое. Дедушка, наш математик и я.

А Комлева я возвёл в отрицательную степень. Я бы его с удовольствием разделил на ноль, но это невозможно. В математике очень чёткие правила, в отличие от мира людей; и если что невозможно, то невозможно окончательно.

\* \* \*

Дедушка читает книгу. Он читает совсем не так, как я: он умеет сидеть за столом. У него дальновзоркость, и книга должна лежать далеко, на вытянутой руке.

*«...И оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, не число, не сущность, не вечность, оно не тьма и оно не свет, оно не ложь и не истина.*

*До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков.*

*– Это маятник Фуко, – говорил её милый. – Первый опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в Обсерватории...»*

– Лёва!

– Что?..

– Ты ничего не замечаешь? – спрашивает дедушка.

– А что такого?..

– Во-первых, это моя книга. Ты влез без разрешения и твоя голова мне мешает. Ты не видишь, что мне неудобно?.. Во-вторых, ты перевернул страницу, а я ещё не дочитал. Вообще это свинство. Я же тебе не мешаю, когда ты читаешь!

– Извини, – говорю я. Ну вот, он и не сердится; я недавно научился говорить это «извини», и правда, решает многие проблемы, как оказалось. – А что такое маятник Фуко?

– Я читаю, – говорит дедушка. – Потом напомни мне, объясню про маятник.

– Когда потом?

– Через тридцать четыре минуты, – вздыхает дедушка.

Чего он всё вздыхает?

– Лёвка! Это ещё что такое, не переоделся до сих пор! А руки помыл? Нет! Миша! И ты тоже, ну что мне с вами делать, читают сидят, один другого лучше, что старый, что малый! Я же вас десятый раз зову, остыло уже всё! А если я буду читать, что тут будет?!

– Не десятый, – говорю я. Но тихо. Я же понимаю вообще-то: круглые числа – это такой оборот речи. Она могла бы сказать «тысячу раз уже вас звала», а на самом деле всего пять или шесть.

– Вилки достань, – говорит бабушка.

Я достаю три штуки, раскладываю.

– Лёвка! Ну что ты за человек, кто же вилкой суп ест!

– Ты же сама сказала – вилки...

– Я имела в виду ложки, ты что, сам не видишь? Своей головы нет? С ума сойдёшь с вами...

Поди разбери. Бабушка, кстати, часто путает слова. То есть не путает, а просто использует их по-другому; дедушка прекрасно её понимает. «Миша, принеси мне шубу!» – просит она, и дедушка приносит ей зелёную кофту, глазом не моргнув. А в другой раз она просит кофту, а дедушка приносит ей очки.

И всегда угадывает.

Я думаю, что вот эти звуковые волны – слова – нужны, когда люди друг друга плохо знают. А дедушка с бабушкой понимают друг друга на каком-то другом уровне, им слова не нужны. То есть нужны не для передачи информации, а для чего-то другого.

Сказать просто: «Ты здесь, ты меня слышишь?» – «Да». Только и всего. Остальное они знают и так.

Они живут вместе пятьдесят два года, три месяца и четырнадцать дней.

То есть если брать в процентном соотношении – я у них совсем недавно.

\* \* \*

Я мою посуду. У меня есть специальный алгоритм: сначала тарелки, от большой к маленьким. И воду потом из верхней в следующую выливать... В нижней набирается много. Потом

ложки. У ложек тоже есть порядок, как их раскладывать потом. Чашки – самое простое, поэтому последнее.

– Лёвка, давай я сама, чего ты возишься?..

Я не вожусь. Я должен закончить. И я знаю, почему бабушка меня торопит. Она хочет побыстрее оказаться в чистой кухне, она не может, когда не чисто; она тогда говорит: «У меня болит кухня». Я этого не понимаю, но верю, что у неё так.

А потом она совершенно отдельно, в чистоте и тишине сварит себе кофе и будет слушать Шуберта, без нас.

Мы очень разные, в нашей семье у всех свои странности. Дедушка любит книги. А бабушка любит музыку. Про меня они думают, что я люблю цифры; но это не совсем так.

Время после обеда и посуды – бабушкино личное. С ней нельзя разговаривать, ни о чём спрашивать, шуметь. Такое правило: она слушает музыку. Всё.

Я редко встречал людей, кто умел бы так слушать. Конечно, в концертном зале – понятно: все сидят и слушают. Но если в записи – дома, скажем, или на улице – люди всегда делают что-то ещё: разговаривают, читают, куда-то идут. Бабушка и сама часто делает всякие домашние дела под музыку; но это в другое время. А сейчас она просто сидит и слушает. И смотрит, как закипает кофе.

Потом пьёт его.

Смотрит в окно и слушает музыку. Организованные сочетания разных звуковых волн.

Мне можно быть на кухне, только молча. А не говорить очень трудно, поэтому чаще всего я ухожу и слушаю через стенку.

Сегодня Шуберт, я видел обложку диска.

Дедушка читает.

Я сажусь делать уроки. Но они не лезут мне в голову, я думаю о музыке.

Дело именно в организации времени. Музыка структурирует время с помощью звуковых волн. Как это устроено?

У меня так называемый абсолютный слух. То есть я слышу все звуки нотами, могу сказать, где соль, а где фа-диез. Я раньше думал, у всех так, это как цвет: ведь обычно люди легко отличают синий от зелёного, например. Есть, конечно, множество оттенков, и их различают не все. Но всё же нет ничего удивительного, когда человек говорит: этот цвет – точно такой, как у моей машины. Или светлее. Или темнее, – это никого не удивляет; а умение различать звуки по названиям, оказывается, редкость.

Причём они бывают разные: скажем, высокое «ля» или низкое. У меня долгое время был камертон, маленькая металлическая вилочка с двумя зубцами; мне очень нравилось, что я могу в любой момент ударить его обо что-то или просто сжать зубцы, а потом отпустить. И поднести камертон к уху, и всегда услышать ровно то, что ожидаешь: звук «ля» первой октавы.

Куда он делся, кстати, этот камертон? Не знаю даже. Я этот звук могу теперь в голове вызывать без всякого камертона. Колебание звуковых волн – 440 герц.

Физики измеряют звук в герцах: это количество колебаний в секунду. Бывает «ля» чуть выше: 442, например. Или ниже: это в старинной музыке, 405 или 407, скажем. Звук «ля» поднялся за несколько веков, жизнь ускоряется, музыка это отражает.

Но про герцы думают только физики и настройщик. А музыканты обычно не думают. Они берут два звука вместе и слушают: звучит красиво, чисто. А на самом деле колебания звуков вписываются в математические формулы. Математика объясняет всё.

Во времена Пифагора музыка относилась к наукам. Точным.

Первобытные люди пели как хотели. Ну, как умели. Слушали, слушали и привыкли: вот это звучит хорошо, правильно, а это неправильно, фальшиво. А потом музыка усложнилась,



появились и музыкальные теоретики. Им обязательно нужно всё разложить по полочкам, придумать новые слова: тоника, субдоминанта... Да не в словах дело! Просто вот поняли люди, что звуковые волны между собой в строгих математических отношениях. Есть такое понятие: гармония.

Скажем, в китайской музыке или где-нибудь в Африке правила другие. Но смысл в том, что они всегда есть. Человеческие уши отслеживают, подчиняются ли звуки правилам гармонии. Если нет – люди кричат, что это фальшиво, некрасиво и даже отвратительно.

Значит, нарушены математические соотношения.

Но бывает, композитор специально ломает готовые формулы, чужие системы. Выходит из клетки гармонии и придумывает своё. Свою систему, свой мир. Тогда большинство слушателей, привыкших к старым границам, говорит: о, это ужасно! он не играет, а вытирает с клавишей пыль!.. Это про Прокофьева так говорили, например.

А несколько человек слышат: это новая система. Непривычная, но она есть: это не хаос, а новая организация звуков. И тогда через много лет, когда человечество привыкает к новому, этот композитор становится любимым.

– Лёва! Свет включи, что ты в темноте сидишь!

Шуберт давно закончился. Дедушка подходит ко мне и включает лампу. Свет падает на тетрадь; на полях моей рукой нарисованы цифры и ноты, стрелки и другие знаки, понятные только мне.

А посередине написано: домашняя раб...

На слове «работа» я сломался. Наверное, потому, что после «б» нужно отрывать руку и переносить, и тут я как раз задумался.

– Лёва, ты хоть за временем следишь, а? Лёва! Опять потом будешь рыдать, что ничего не успеваешь!

Я смотрю на часы. Это ужас. Ужас, сколько времени и сколько у меня ещё уроков! Меня совершенно выключает из жизни, почему я такой! Почему я такой ненормальный!!!

Приходит бабушка, приносит мне яблоки, чтобы я грыз их, а не ручку. Я немного успокаиваюсь. Дедушка ставит часы, мы пишем график, что я успею за сколько сделать.

Конечно, я успеваю.

– Вечно с тобой надо сидеть, взрослый же парень, – бормочет дедушка. – И хватит петь уже! Сам себя отвлекаешь.

– Лёвка поёт Шуберта, – говорит бабушка. – Ох, какой слух! Ведь мог бы быть музыкантом...

– Музыкантом, – ворчит дедушка. – Музыканту надо уметь работать, а он...

– Что такое маятник Фуко? – спрашиваю я.

– А?

– Маятник Фуко! Ты сказал, через тридцать четыре минуты расскажешь. А прошло уже... Уже... Четыреста сорок восемь.

– Ещё в секундах посчитай! Спать пора...

– Я тогда в интернете посмотрю, если тебе жалко объяснить...

– Зубы чистить! – командует дедушка.

И, пока я чищу, объясняет:

– Это такой маятник, груз на очень длинном тросе. Его можно устроить в башне или в соборе каком-нибудь: нужно особое пространство, очень высокий потолок. И если маятник там раскачать, то через некоторое время будет заметно: траектория изменилась.

– Траектория чего?

– Раскачивания груза... Потому что на самом деле маятник качается по-прежнему, а Земля крутится. То есть это такой прибор, наглядно показывающий вращение Земли... Лёва! Ты щёткой шевели хотя бы чуть-чуть! И объясни теперь ты: как это возможно, чистить зубы и петь одновременно? И ты же совершенно меня не слушаешь!

Слушаю я, чего он?..

\* \* \*

Бабушка хотела учить меня музыке, потому что у меня хороший слух и я всё время пою, сам не замечаю, как пою. И, когда мне было пять лет, к нам пришла Елизавета Эрнестовна. Всё было ничего, если бы не её кофта. Какое-то жуткое сочетание цветов, фальшивое. Я просто не мог на неё смотреть! И чего она в ней ходит всё время?

И я никак не мог понять, как это можно – играть правильными пальцами. Зачем? Я же нажимаю правильные клавиши, при чём тут пальцы! И ещё совершенно ясно мне было, что играть я никогда не смогу, от меня требуют невозможного. Вот это сыграть: до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, до. Ровно, одинаково нажимая всеми пятью пальцами. Что я, робот?

Сама она хорошо играла, кстати. Шопена. Я тогда закрывал глаза и не видел этой кофты ужасной.

– Ты что, спишь? – спрашивала она.

В общем, мы расстались. И со следующей учительницей расстались. И со следующей.

В конце концов бабушка поняла, что пианиста из меня не выйдет.

А потом появился Рома.

У Ромы тоже есть бабушка, и они с моей бабушкой подруги. Хотя Рома сильно старше меня, он студент музыкального училища. Они пришли к нам в гости, и тут моя бабушка стала про меня рассказывать. Что слух, способности, а учиться не получается.

– Пойдём посмотрим, – сказал Рома.

И мы ушли с кухни туда, где пианино.

И тут он мне показал, что *это всё устроено*. Что все звуки между собой – в математических отношениях. Интервалы, аккорды – система! Если нажать три клавиши через одну – получится красивый аккорд, трезвучие. А потом верхний голос двигаем выше, и аккорд меняется, темнеет; а потом остальные голоса тоже ползут вверх, как сороконожка, и во всех аккордах нужно просто считать: через одну – через две, два плюс три... вообще ничего сложного, просто считать. А выходит так красиво!

...И я стал по всей клавиатуре эти цепочки аккордов играть. Похоже на математическое задание «продолжи последовательность».

И мне так это понравилось! Стоит включить элементарную логику – и получается всё.

\* \* \*

– Мария Михайловна, у вашего Лёвы цветной слух! – крикнул Рома так громко, что бабушка там, на кухне, уронила ложку.

Это выяснилось примерно через два месяца наших занятий. Рома задал мне писать ноты, а простого карандаша под рукой не оказалось, только синий.

– Тогда придётся в соль миноре писать, – сказал я.

– Почему? – спросил Рома.

– Так соль минор же! Он синий.

– Погоди, ты слышишь ноты по цветам?

– А разве... Разве не у всех так?

Тогда Рома рассказал мне, что цветной слух, как у меня, встречается довольно редко. И мы стали играть разные ноты, а я говорил, какого они цвета.

Сам Рома слышит только до мажор – он для него белый. Может, это связано с тем, что до мажор играют по белым клавишам. А ещё Рома слышит фа-диез: он похож на велосипедный фонарик.

– Когда идёшь через парк в сумерках, а тебе навстречу велосипедист. Я сразу фа-диез слышу тогда.

Я удивился. Потому что до мажор на самом деле ярко-красный. А фа-диез похож на самолётный след высоко в небе. Просто фа – зелёное, а фа-диез – пронзительно-белый. Вот уж не знаю почему.

А потом Рома сидел у нас на кухне, пил бабушкин кофе и рассказывал про композитора Скрябина. Какой у него был цветной слух.

– Он даже написал такую музыку, симфоническую поэму «Прометей». И там есть световая партитура. Ему хотелось объединить это, музыку и свет.

А бабушка рассказала про писателя Набокова. Что он видел цветными не только ноты, но и разные буквы. И что латинские для него были ярче. Рома сразу нашёл это в интернете, Набоков писал об этом в повести о своём детстве.

И! Ничего не сошлось. Ни одна буква! У Набокова свой цвет, у меня свой. Я даже расстроился. То есть мои цвета – это только моё, мне совершенно не с кем поделиться, понимаете? Никто этого не видит, у всех по-другому!

Только одна буква, несчастная буква «Г», у Набокова она «каучуковая».

– Что это?

– Каучук? Это такое вещество, из него резину делают. Я себе представляю, что каучуковое – это как из автомобильной шины.

– Да, у меня тоже «Г» чёрное, – согласился я. – И тоже такое, резиновое.

...Рома занимался со мной два года, и мы с ним говорили. Говорили! И на моём дне рождения, когда мне девять лет исполнилось, у меня впервые был самый настоящий гость – Рома.

А потом случилось совершенно непонятное: он женился. Рома! И у него родились сразу две дочки. У Ромы! Разве он такой взрослый?.. Хотя, как сказала бабушка, ему уже двадцать лет. А я и не знал.

И, конечно, у него совершенно не осталось времени на меня. Я понимаю.

\* \* \*

Я слушаю Шёнберга. Про него рассказал мне Рома.

– Лёвка, надень наушники хотя бы! Неужели тебе это нравится?

Никому не нравится мой Шёнберг. Конечно, эта музыка не такая мелодичная, как, например, Шуберт или Шопен, и устроена она совсем по другому принципу. Шёнберг сначала был «нормальный» композитор, очень хороший, красивую музыку писал: бабушке ранний Шёнберг нравится. Но ему было этого мало – сочинять музыку по старым законам. И он изобрёл свою систему и назвал её «додекафония». Смысл в том, что нужно использовать все двенадцать нот, со всеми диезами-бемолями, и ни одна нота не может прозвучать раньше, чем пройдут остальные одиннадцать.

Он основал целую школу. Конечно, не многим такая музыка понравилась; но у Шёнберга нашлись последователи.

– Лёва, ну что в этом красивого? Какофония какая-то!

– Не какофония, а додекафония, – объясняю я.

Хотя это объяснить невозможно. Я слышу в этом красоту и гармонию, когда используется весь спектр, все цвета поровну. Кажется, что этот мир безупречен – и он сияет. Как солнце, в котором тоже есть все цвета.

Я надеваю наушники и закрываю глаза. И проваливаюсь в мир звука и цвета.

Большинство людей считает, что Шёнберг – «ненормальная музыка». Но есть те, кто любит, не только я.

\* \* \*

– Эй, Иноземец! – кричит Комлев. – Иди побей этих девочек! Они тебя обзывают!

Я смотрю, как у Комлева двигается рот. Он всё время облизывает губы и становится похож на какое-то животное. Пока не пойму на кого.

– Иноземец! Не слышишь, что ли! Они тебя обзывают! Побей их!

– Ты знаешь, сколько метров Марианская впадина? – спрашиваю я его.

– Чего?

– Марианская впадина. Одиннадцать тысяч двадцать два метра! Если опускаться под воду со скоростью метр в секунду, то знаешь, сколько нужно будет погружаться до самого дна?

– Ты чего, глухой, что ли?

Я не глухой. Я просто отключаю то, что мне неинтересно. Не слышу.

– За минуту – шестьдесят метров. Это уже очень много. А чтобы до дна, нужно три часа четыре минуты. И давление там жуткое, обычный скафандр расплющит. Я ещё давление не рассчитал.

– Придурок, – говорит Комлев. Я этого не слышу. Я считаю давление. – Псих!

Скажите, кто из нас псих?

...Это всё ничего не значит. Мне главное, чтобы только он не сказал одно слово. На этот раз он его не говорит, забывает.

Но я помню, как он его сказал. Хорошо, что я успел уйти, про давление думать гораздо интереснее.

Это слово похоже на птицу, на «удода». Только вторая буква – «р». Я не могу его написать, не могу его слышать. Это какой-то взрыв фиолетового и коричневого цветов; причём таких оттенков, что это совершенно невыносимо и хочется орать только от того, что я представил это.

Давление под водой увеличивается с каждым метром.

\* \* \*

– Лёва, – говорит дедушка. – Я должен сказать тебе одну вещь.

Неприятная вещь, похоже.

– Какую?

– Я наврал твоей учительнице.

– Ты?

– Да.

– Зачем?!

Я не понимаю, зачем люди врут. Тем более дедушка!

– Всё из-за твоих штанов, – объясняет он.

Вот не дают им покоя мои штаны! Дело в том, что в школе у нас нет формы. Но есть правило: одежда должна быть «спокойных цветов». Согласен; это же школа, а не карнавал.

А у меня есть любимые вельветовые брюки цвета старого кирпича. То есть они не то чтобы рыжие, и не красные – цвет обожжённой глины, его ещё называют «терракотовый».

Этот цвет звучит как гамма от «ре» по белым клавишам, дорийский лад. Минор с повышенной шестой ступенью. Понимаете, да? Если от ноты «ре» играть только по белым клавишам. По правилам строгой гармонии там си-бемоль должен быть, а его нет: такое нарушение нормы, но по всем правилам! Ну, как объяснить? Ладно, давайте так: этот цвет мне очень нравится. Он похож на меня изнутри, когда я никуда не опаздываю. То есть он как раз очень спокойный.

И вот они ко мне прикопались. Нельзя ходить в школу в красных штанах!

Тоже мне, нашли красный цвет!

– Они не красные, – говорю я.

Понимаете, да? Устраивают скандал на ровном месте. Штаны, кстати, протираются над коленями (почему там, интересно?) и коротковаты уже. Но в ширину я не расту, так что вполне могу в них ходить.

Дались им мои штаны.

– Дались им твои штаны, – говорит дедушка. – В общем, я не выдержал и наврал им. Что это память о твоих родителях.

– Каких родителей? – не понимаю я.

– Лёва! Ну, ты пойми, я, наверное, был не прав. Но эти люди в твоей школе ужасно мне надоели! А про твоих родителей никто там ничего толком не знает и не собирается выяснять, так что пусть думают, что это и правда у тебя от них такая память, одежда.

Бред какой-то.

– Зато теперь они от тебя отстанут! Люди иногда понимают враньё лучше, чем правду. Хотя ты умнее меня и никогда так делать не будешь, правда, Лев?

– Тебе не кажется, что это глупо? – спрашиваю я.

– Кажется. Но что мне было делать?... Рассказывать им про твой ре минор и дорийский лад?..

Тоже верно; не поймут. Ладно, родители так родители; то, что я называюсь «сирота», иногда имеет свои плюсы.

Хотя это дурацкое слово «сирота», такое серое и тусклое, со вкусом алюминиевой ложки, совершенно мне не подходит.

У меня есть бабушка Маша и дедушка Миша. Разве этого мало?

Зато про мои штаны и правда больше никто не заговаривал.

\* \* \*

У бабушки фамилия – Дедушкина. Это смешно; и это правда: она дедушкина, конечно.

А дедушка Дедушкин – глупо, сам свой выходит. Конечно, когда он был маленьким, это имело смысл: он был дедушкин внук. А теперь дедушкин внук как раз я, но у меня другая фамилия. Я Иноземцев. Наверное.

Так вот, мои Маша и Миша Дедушкины, то есть бабушка и дедушка, жили совершенно одни больше сорока лет. Детей у них не родилось, так что не было никаких шансов им стать бабушкой и дедушкой.

И тут появился я.

Дедушка нашёл меня в аэропорту, он должен был лететь в Прагу на какую-то конференцию. И там, в аэропорту, обнаружился я, совершенно один. Я знал, что меня зовут Лёва Иноземцев, и что папу зовут Саша, а маму Аня. И что мы живём в девятиэтажном доме на последнем этаже. Больше я ничего не знал; и о моей старой жизни до сих пор ничего не известно.



Меня объявляли по радио, а потом даже по телевизору показывали мою фотографию. Я был в больнице, кажется. Но точно не помню – там такие лампочки были яркие, ужасные. Дедушка меня очень быстро оттуда забрал.

Моим Дедушкиным сначала не хотели меня отдавать, потому что им много лет; но потом всё же отдали, а так бы я отправился в детский дом. Думать об этом я не люблю.

Я мог бы стать Лёвой Дедушкиным; но мои Маша и Миша очень переживают, что они уже не молодые. Что они не смогут меня вырастить, и я останусь совершенно один. Я в это не верю: они будут жить до ста лет как минимум, они умные и совсем не старые. Но они решили: если меня когда-нибудь захотят найти мои родители, единственный шанс – моё настоящее имя. Лев Александрович Иноземцев.

Если они, конечно, правильно услышали мою фамилию. (Как только я в детстве мог выговорить такое сложное?)

...Хотя бабушка иногда говорит, что меня просто подбросили инопланетяне.

\* \* \*

Раньше у меня было наоборот. Я не только видел звук цветом, но и слышал цвета нотами; любые яркие вещи вызвали у меня в голове взрыв звука. Такой сильный, что мне приходилось закрывать глаза и орать. Я не мог ходить по улице в солнечный день, пока мне не купили тёмные очки.

Со мной занимались врачи, и даже лекарства я какие-то пил, но, может, это и не связано. Главное, я научился отключать этот звук. И теперь картины не вызывают у меня в голове нагромождений аккордов, если об этом не думать специально. Если же я вижу что-то очень красивое, то могу вызвать в голове музыку. Но потом у меня очень болит голова.

\* \* \*

Мы с дедушкой катаемся в парке. Я на роликах, дедушка на велосипеде. Я довольно долго не мог на роликах, а сейчас научился. Могу и на бордюр, и обратно. Многие, конечно, катаются лучше. Но чья-то мама сказала своему сыну про меня: видишь, как мальчик хорошо катается? А её сын был никак не меньше меня.

И я удивился: обычно меня хвалят за то, как я думаю. За так называемый ум; хотя толком сам никто не знает, что это – ум. А за то, как я двигаюсь, меня хвалят редко. Многие вещи, которые все умеют – залезть куда-то или попасть мячом – я не могу, мне такое делать трудно.

Так вот; я еду на роликах со скоростью примерно 11 километров в час. Я считал – тут есть отрезок сто метров. Может, кто-то в этом парке физкультуру сдаёт, поэтому размечено. И это расстояние я проехал за 33 секунды. То есть не 11 километров в час, а...

А!

...когда человек едет навстречу, вы же не думаете, что он вдруг изменит траекторию и... А скорости складываются, между прочим!

– Извини! – кричит дедушка.

Он едет ко мне на своём велосипеде, чтобы убедиться, что ничего не случилось ни со мной, ни с девочкой, в которую я врезался. Почему он извиняется, он-то в чём виноват?!

– Лёва! Надо говорить «извини», – выдыхает дедушка; он уже видит, что со мной всё в порядке.

Вот интересно: он больше переживает не за то, что мне больно, а что я не извинюсь. А я почему-то сейчас совершенно не могу сказать «извини». Иногда это легко, а в других случаях

совершенно невозможно. Вообще-то я не виноват, это же она резко повернула, а я прямо ехал, предсказуемо!

– Извини! – говорит она первая.

И ещё говорит:

– Ой, привет.

И тут я понимаю, что это Соня из нашего класса.

– Привет! – говорю я.

– Всё нормально? – спрашивает она.

Я киваю, да, мы как-то удачно врезались – у неё тоже всё в порядке.

– Ты с какой скоростью ехала? – спрашиваю я.

– Откуда я знаю?

– Ну, как! Можно посчитать. Хочешь, я посчитаю?

И Соня разгоняется, а я считаю. Выходит девять и две десятых.

– Две десятых чего?

– Километров в час.

И я рассказываю ей, как кидал зубочистки с моста, а дедушка засекал время. И эти зубочистки довольно медленно падали, почти четыре секунды, из-за ветра, может быть. И вот эта их скорость падения примерно такая же, как мы на роликах едем, 11 км/ч.

А потом Соня говорит:

– Смотри, какие каштаны!

Точно. Палочки, воткнутые в землю, оказываются каштанами. Настоящие деревья тянутся вверх головой, и две веточки-ручки, и на них новенькие листья висят, как тряпочки.

– Я больше всего люблю каштаны, – говорит Соня.

– Да, каштаны красивые.

– А у тебя какое любимое дерево?

– Не знаю...

Я правда не знаю, думаю, рассматриваю деревья вокруг себя.

– Дуб, тополь, ясень...

Листьев ещё толком нигде нет, по стволу я могу отличать только тополь и берёзу.

Ну, ёлку, конечно, и сосну ещё; а остальные – только если знакомое дерево, если я его помню с листьями.

– Ствол у всех разный, и ветки растут по-разному... Смотри!

– Да, как фрактал.

– Как что?

– Ну, фрактал! Видишь: из ствола три ветки, и из каждой ветки тоже три маленьких. В общем, фрактал – это если одна ветка похожа на всё дерево целиком, и от неё отходит веточка, и она тоже повторяет эту форму. И так до бесконечности. Понимаешь? Я сейчас тебе нарисую.

Я достаю листочек и карандаш, всегда с собой ношу, и рисую. Дерево и снежинку, чтобы ей было понятно.

– Ясно, – говорит Соня. – А родословное дерево ведь тоже фрактал, да? Бесконечное.

– Конечно. Если не рисовать братьев-сестёр, а только родителей, а потом их родителей...

И... и если нет никаких сбоев, то да, фрактал.

– Сбоев?

– Ну да, как у меня, например.

Соня замолкает, а тут мимо нашей скамейки проходит маленький мальчик с бабушкой.

– А солнце от нас далеко, – объясняет ему что-то бабушка. – Много-много километров...

– Сколько? – спрашивает малыш, наш человек.

– Миллион, – отвечает бабушка. А может, не бабушка, может, няня просто.

– Сто сорок девять миллионов, – говорю я.

- Что?
- Солнце от нас находится на расстоянии сто сорок девять миллионов километров. ...Они почему-то быстро уходят, и мы не говорим больше про солнце.
- Зачем ты влез? – хмурится Соня.
- Как зачем? Она же неправильно говорит!
- Какая разница, что люди говорят. В чужие разговоры влезать невежливо.
- А врать ребёнку вежливо, что ли?
- Какой ты всё же странный, Лёва! – говорит она.
- И тут же добавляет:
- Но интересный.
- Почему интересный? Я же пока ещё ничего интересного не изобрёл.
- Изобретёшь когда-нибудь.

\* \* \*

Бабушка сегодня слушает необычную музыку. Гармонии почти одни и те же, очень предсказуемо меняются, будто повторяется одно и то же: тоника – доминанта – тоника, на гитаре хватило бы двух аккордов; ну, или четырёх, ладно. Но ритм! Никак не могу уловить; он тоже будто предсказуемый, но никак не схватишь.

Кажется, что тут не сочетания разных цветов, а один, например, синий. Очень яркий. Я даже не помню, где можно увидеть такой синий. Возможно, на океане: я никогда не видел океана, но предполагаю.

А потом наступил жёлтый цвет. Ярко-ярко жёлтый, я даже глаза закрыл.

И всё же пошёл на кухню, спрашивать. Хотя и нельзя бабушку отвлекать; но это же особый случай.

– Что это?

– Ты про музыку? Старинная, – говорит бабушка.

Как старинная? Никогда бы не подумал.

– Это очень ранняя музыка, ещё до Баха. Неужели нравится тебе? Ты же любитель Шёнберга!

Я пожимаю плечами. Да, нравится. В этом есть какой-то... Какой-то минимализм, что ли. Будто человек рисует одной краской, и линии у него очень чёткие. А выходит здорово.

То есть, скажем, музыка может выглядеть как большой город, в котором много всего разного. А тут – просто одна башня, но очень высокая.

Мне кажется, что я забрался на какую-то очень большую высоту. И оттуда смотрю вверх. И у меня немного кружится голова.

Я пошёл делать уроки, и это получилось очень быстро: вдруг в голове образовалась какая-то ясность, именно от музыки этой. И все ответы сошлись: в конце длинного примера число делится нацело, и в ответе просто два, а в другом ответе – четырнадцать. Значит, правильно, если все дроби сократились.

Музыка закончилась, но всё ещё звучала в моей голове.

Потом я понял, что могу и сам сыграть похожее. Открыл пианино, стал нажимать клавиши, как меня Рома учил. О, кажется, так. Ой, не так. А теперь так!

– Помнишь ещё что-то? – спросил меня дедушка.

– Он же подбирает! – поняла бабушка. – Миша, слышишь? Слышишь, как похоже! Подбирает по слуху сегодняшнюю музыку. Здорово ты подбираешь, Лёвка! А дальше можешь?

...Я закрыл пианино и ушёл в свою комнату.

Потому что ничего не здорово. Они думают, я дурак? Не понимаю? Вообще ничего похожего. Вот в моей голове всё так стройно и гармонично! А руками не получается сыграть! Как-то это обидно, просто ужас как.

– Лёвка, ты чего? – спросила бабушка.

– Ничего.

Как вот ей объяснишь!

– Лёва, тебе надо учиться. Ты же понимаешь, само ничего не получится. Нет такого музыканта, кто бы не занимался и играл, а ты хочешь сразу!..

Поняла всё-таки.

– Я не смогу. Мне сколько ни занимайся, я никогда не смогу!

– Но с Ромой же тебе нравилось?

– Рома – это Рома.

Потом ещё я слышал, как она по телефону говорила. Наверное, с Ромкиной бабушкой как раз.

– Ни разу не подходил к инструменту, и сегодня первый раз! Представь, старинная музыка ему понравилась, да, твой диск. Ещё у вас есть похожее?

...К инструменту я не подойду. Всё равно не получается. А вот ноты хочется писать, и я тихонько рисую в тетради по математике пять линеек.

...А может, не линеек? Может, придумать способ писать музыку на клеточках?..

\* \* \*

Мне очень интересно, откуда это взялось. Сначала люди просто выстукивали ритм на камнях и палках. И, конечно, пели. Петь научились раньше, чем говорить, это я точно знаю.

И вот спустя несколько тысяч лет пришли к вот такой системе: есть звукоряд, гамма. Ноты придумали (на линейках писать их). И правила классической гармонии: мажор и минор, тоника-субдоминанта-доминанта. Кажется, что сложно, но на самом деле это цифры. Тоника на первой, субдоминанта на четвёртой, доминанта на пятой. Три кита, три главных функции – они же три бластных аккорда. И в классической гармонии нарушать правила нельзя! Стой на трёх китах, шаг вправо, шаг влево... не расстрел, а «какофония», «непрофессионализм», вот это всё: «Как так можно! Что вы заканчивали! Бах вертится в гробу!» (На самом деле он вертится в гробу от нерушимых правил, я думаю.)

А потом, конечно, это всё развивается и гнётся: можно так, можно так. Границы раздвигаются. Кто-то ломает правила, и потом этот слом сам становится правилом...

Однако же есть и простая, популярная музыка, и всё равно она построена на этих классических пяти-шести аккордах. Ну, ударные ещё, ритм... Получилось, что музыка как бы разбежалась на две дороги. Одна короче и проще, другая сложнее и интереснее.

Шёнберг отменил тональность. Ну, то есть для себя; остальные-то как хотят. Отменил, но придумал ещё более жёсткую систему.

После него появляются и другие направления: кто-то использует шум дождя; кто-то вообще ломает инструменты. Ноты современные композиторы пишут так, что без подготовки не разберёшься. Например, такой знак: играй что хочешь, но в этих пределах звуковысотности и такое-то количество времени.

Мне это не нравится. Я считаю, должна быть система, организация звуков; а внутри неё уже свобода.

И вот я хочу придумать такую организацию. Свою. Это должно быть связано с цветом, звуковая картина должна быть выстроена через зрительную.

Но что делать с тем, что у меня свои цвета для звука?..

Возможно, это и неплохо. У меня будет своя система; другие люди её не будут знать. Но будут ощущать, что она есть. Ведь не обязательно знать про тонику-доминанту, чтобы любить Моцарта, например.

Система звуков, не похожая ни на что. Не тональность, не додекафония. Что это может быть?

Когда я долго думаю об этом, то не могу спать. Утром у меня ужасно болит голова, и бабушка разрешает не ходить в школу.

– На воздух, Лёвка. Тебе нужно на воздух, пойдём гулять. О чём ты только думаешь всё время?! Кричишь во сне... Лёвка, бог с ними, с твоими уроками... Потом всё догонишь. Что же за голова у тебя такая, совершенно не даёт тебе жить... Лёва! Что же ты одеться никак не можешь!..

Я и сам не знаю, что делать. Я чувствую, что эти мысли о музыкальной системе выводят меня из равновесия, я с ними не справляюсь. Но не думать об этом не могу. Мне кажется, я могу сделать открытие, которое не сможет сделать никто другой.

И эта музыка изменит мир. Она будет выстраивать человека изнутри, приводить в порядок. Он не поймёт, но почувствует это. И никогда не будет таким, как Комлев, например.

\* \* \*

Бабушка ведёт меня на реку. С бабушкой мне идти медленно, поэтому я больше люблю с дедушкой. И ещё мы говорим с ними о разных вещах: об одном получается говорить только с дедушкой, о другом – только с бабушкой. Будто у нас разные тональности разговора.

– Что у вас было в школе?

Я рассказываю: на математике у нас была комбинаторика. Это немного скучно, но очень понятно. Мне всё время хочется задач сложнее, я их тут же придумываю и решаю. А потом оказывается, что я не успел основное задание. Но это неважно.

– Знаешь, я считал, сколько может быть положений у кубика Рубика.

– Лёвка, а кто в классе тебе нравится? – внезапно спрашивает она.

Я пожимаю плечами. Я не знаю, как отвечать.

– Неужели тебе совсем люди неинтересны, а, Лёвка?

– Нет, почему? Интересны.

Мне нравится, когда много людей. Ну, не очень много, не больше одиннадцати человек; но мне нравится, когда они друг с другом разговаривают, а я смотрю, например. Почему бабушка говорит, что мне неинтересно? Я уже знаю свой класс по именам и фамилиям, хотя я только первый год в этой новой школе.

– Знаешь, Лёвка, а я всех своих одноклассников выучивала в первый день. Я же много школ поменяла; и на второй день всегда знала, как кого зовут. Для меня имя сразу прикрепляется к человеку, перепутать невозможно.

Как это можно – в первый день?.. У нас, скажем, Арина и Алина так похожи, я их только через два месяца научился отличать!

\* \* \*

Я рассматриваю Соню. У неё необычное лицо, я это заметил впервые: её лицо как мелодия. То есть я многие вещи представляю в звуке, но чтобы человек! Никогда такого не было. Я рассматриваю Сонино лицо, и мелодия звучит всё громче.

Интересно. Я пытаюсь записать мелодию своим способом, по клеточкам, чтобы не забыть. Интересно, я всегда теперь буду его слышать, если смотреть на Соню?



– Иноземцев! Что ты делаешь?!

Я поднимаю от тетради глаза и вижу Анну Вячеславовну, географичку (слышите в этом имени три бемоля, нет?):

– Что ты рисуешь?! Ты слышишь, о чём я говорю?!

...Вот говорят, что я ничего не понимаю. А я прекрасно понимаю, я не такой дурак, чтобы говорить сейчас правду. Если я скажу, что записываю нотами Сонино лицо, то не будет ничего хорошего ни у меня, ни у Сони.

– Я решаю задачу, – говорю я.

Это ведь тоже правда.

– Какую задачу?

– Я как раз пытаюсь сформулировать.

– Иноземцев! Почему ты занят посторонними задачами на моём уроке?!

– Потому что в данный момент времени мне это более интересно.

...Дальше я записываю нотами Сонино лицо уже в коридоре, на подоконнике. Хотя это несправедливо. Кому я мешал?! И потом, по географии у меня средний балл 4,78. Я географию люблю.

А дедушке опять будут звонить по телефону. И опять он будет говорить: Лёва, ну что это!

Будто я виноват.

Но я никак не могу понять: мелодия Сониного лица неуловимо переходит из мажора в минор и обратно. Как это записать?

\* \* \*

– Какую ты задачу решал? – спрашивает Соня.

– Я хочу придумать систему, чтобы ноты записывать. По клеточкам.

– Это совсем не сложно, я давно так делаю, – говорит она.

Как?!

– Вот, смотри, – показывает Соня. – Две клетки в высоту – как нотные линейки. Первая, третья и пятая у тебя есть, остальные две рисуешь мысленно, и получается вот что: если нота вот здесь, посередине клетки, это ми, а если касается – ре...

Она показывает мне, и это до обидного просто. Мне так не нравится.

– Я хочу как-то по-другому, – говорю я.

– Ну и хотя по-другому, а у меня зато всё понятно, – говорит она и уходит.

Я её обидел, что ли?

И зачем она пишет ноты на клетках, неужели тоже музыку сочиняет?

\* \* \*

– Лёвка, пора тебя стричь, это невозможно, – говорит бабушка.

– Не пора.

– Ну как, волосы в глаза лезут!

Я не выношу стрижку. У меня волосы болят!

– Волосы не могут болеть!

А вот и могут. Я вообще не выношу, когда меня трогают другие люди, а тут ножницы! Они холодные ведь!

– Я сейчас, – говорю я и запираюсь в ванной.

Тут есть ножницы, маленькие, для ногтей. Ногти я научился стричь сам, когда сам – это не больно.

Волосы у меня немного выются, если их распрямить – и правда до носа достают, хотя мне это не мешает.

Я беру и обрезаю лишнее. Вот! Теперь ничего не лезет в глаза, и никто не потащит меня стричься!

– Лёва! Лёва, что ты сделал, какой ужас...

Почему ужас?! Сама же сказала: в глаза лезут.

Если бабушка меня называет не «Лёвка», а просто «Лёва», значит, сердится, это я выучил.

– Пойдём в парикмахерскую! Прямо сейчас!

– Нет!

– Нет, пойдём! Лёва!

...Никуда мы, конечно, не идём. Потому что я не могу! И не надо меня никуда тащить, я же не кукла, а живой человек.

– Ну и ходи такой!

Ну и буду.

– Что дедушка скажет!!!

...Как думаете, что сказал дедушка? Правильно, ничего. Он не заметил. Потому что на самом деле это нормально.

\* \* \*

...Я встречаю Соню ещё перед школой, и несколько последних метров – сто сорок, наверное, – мы идём вместе.

– Соня! А ты музыку сочиняешь, да?

– Лёва, – говорит она и почему-то смотрит на мои кроссовки. Нормальные кроссовки, что не так? – Лёва, ты меня прости, ладно?

– За что?

– За то. Я... Ты, знаешь, не подходи ко мне. Я бы хотела с тобой дружить, но не могу. Ты... Ты очень интересный человек, правда. Но я не могу всё равно.

– Почему? – я и не знал, что она собирается со мной дружить. Со мной ведь никто никогда не дружил, а с ней мы разговаривали просто.

– Надо мной все будут смеяться. А я так не могу, понимаешь? Я же не ты. Мне не всё равно, что обо мне думают.

Какая-то она странная, цвет лица стал странный. И мелодия Сониного лица стала звучать тихо-тихо, почти исчезла. Мы уже подошли к школе, и Соня вдруг пошла быстро-быстро, а я споткнулся на ступеньках и чуть не упал.

Когда я зашёл в раздевалку через несколько секунд, она стояла с Тоней и Верой и смеялась с ними. Я просто мимо прошёл.

У меня вертелась в голове мысль, и я никак не мог ухватить её. Как, бывает, мелодия крутится, а никак не поймает. Ещё это похоже на цветочные пятна, которые видишь с закрытыми глазами. Вот так закрываешь и видишь пятнышко, пытаешься за ним уследить, а оно убегает!

– Иноземец, открой глаза, ты по моей шапке ходишь!

Я думаю, думаю, думаю.

Болит голова опять.

– Лева, у тебя всё в порядке?

– Да.

Да, у меня всё в порядке. Открыли номер сто пятьдесят четыре: из пункта А выходит корабль...

...Я решил все задачи раньше всех, и у меня осталось время. Развинтил ручку – свинтил обратно, ещё развинтил – и понял, уловил мысль.

Не мог дожидаться перемены. А потом не мог дожидаться, чтобы Соня осталась одна; я понял, что не должен к ней подходить, если рядом другие люди. Просто такое правило; ничего в этом такого нет.

На истории писал стержнем. Не знаю, куда потерялись все эти запчасти от ручки.

И тут Соня попросилась выйти.

И я тут же за ней.

– Соня!

– Ну, чего тебе? Я непонятно сказала разве?!

– Слушай, у тебя есть электронная почта?

– Чего?

– Почта! Я бы тебе писал. Никто не узнает и не будет над тобой смеяться. А?

– Лёва, – Соня вдруг села на лестницу. – Ты что, совсем на меня не обиделся?

– Нет. А почему обиделся?..

– Всё-таки... Всё-таки... какой ты странный.

– Я нормальный. Это вы странные.

– Давай адрес. Я сама тебе напишу. И сейчас не сразу иди в класс, понял?

– Не сразу – это через сколько минут?

– Через... Через две с половиной. Ладно?

Я кивнул. И две с половиной минуты просто смотрел в окно.

\* \* \*

«Прости меня, Лёва. Напиши мне ещё про фракталы, это очень интересно».

\* \* \*

Зачем она говорит это «прости»? Никто никогда не говорил мне, что хотел бы со мной дружить.

Я смотрю на это письмо, и мне хочется прыгать.

И я прыгаю. Достал до потолка почти.

\* \* \*

Пытаюсь писать про фракталы. Это оказывается трудно, писать. Но легче, чем говорить. «Фракталы – это такие структуры, состоящие из частей. И каждая часть повторяет саму структуру целиком. Это легко нарисовать, а объяснить труднее.

Есть треугольник Серпинского. Но лучше всего дерево Пифагора. Особенно мне нравится „Обнажённое дерево Пифагора, обдуваемое ветром“».

Не знаю, что ещё писать, как объяснить. Пытаюсь прикрепить картинки. Соня должна понять, она же умная!

\* \* \*

Соня не ответила. Ей что, совсем неинтересно? Я бросил записывать мелодию её лица; всё равно ничего не получается.

А утром от неё пришло письмо.

«Рисовала твои фракталы всю ночь, как красиво! Математику не успела сделать».  
Присылаю ей ответы по математике. Жалко, что ли.  
– Лёвка! Чего ты копаешься, опоздаешь! – кричит мне бабушка из кухни.  
И я иду есть омлет, омлет соль-диез минор, потому что с укропом.

\* \* \*

Я рисую кривую Леви. Как это красиво! У нас биология, но я уже всё сделал и рисую. Для этого нужен карандаш и ластик, я строю следующий уровень и стираю предыдущий. Прямо в тетрадке по биологии. Всё-таки фракталы – удивительная вещь. Как их можно использовать? Вроде красиво, а как использовать – непонятно. Вот, один человек сделал антенну в виде кривой Леви, и она стала лучше работать. А почему – никто не может объяснить.

Интересно, можно ли в музыке что-то такое? Фракталы. Если простая тема: до-ре-ми-ре-до. Потом от каждой ноты то же самое...

Нет. Ерунда какая-то выходит и занудство; в музыке это не проходит.

Опять я ничего не изобрёл.

\* \* \*

Соня в школе совершенно не замечает меня. И я к ней не подхожу, договорились же.

Но я заметил, она тоже рисует дерево Пифагора.

Рукой много не нарисуешь. Надо программу какую-то компьютерную найти.

Я пытаюсь придумать свой фрактал. Но то, что получается, какое-то скучное и некрасивое. На «кривую Иноземцева» не потянет.

\* \* \*

«Лёва, наверное, ты станешь учёным. Ты умный. Но какой-то странный. Почему ты не можешь быть как обычный человек?»

\* \* \*

В чём вот я странный? Никак не могу понять. Думать об этом, честно говоря, не очень интересно. То, что в музыке казалось странным, потом становилось классикой. Если бы никто не писал странной музыки – музыки бы, может, вообще не было: так бы и стучали мы в древние барабаны.

«Я не странный, я нормальный. Это все остальные странные. Представь себе: ты оказалась в обществе, где все такие, как я. Как бы тебе это понравилось? Все бы говорили, что ты странная. А ты не можешь им объяснить, что с тобой всё в порядке!

На самом деле вы считаетесь нормальными только потому, что вас больше! Как будто если каких-то людей больше, то они правы.

Между прочим, большинство считало, что Земля плоская».

\* \* \*

Мы идём с бабушкой в магазин. Вернее, в магазины. Бабушка не покупает всё в одном месте, а ходит по разным магазинам: алгоритм этих покупок мне пока не очень ясен. Почему в одном случае она выбирает то, что дешевле, а в другом – то, что дороже? Я этих принципов

пока не понимаю, и если хожу в магазин один – покупаю только то, что видел у нас дома. На всякий случай.

– Знаешь, я пытался написать такую музыку... Чтобы она была как фрактал. Но это вышло не то...

– Лёвка! А ты видишь вообще, какая погода? Давай через набережную пойдём, хочешь?

– Да, и эти фракталы...

– Лёвка!

Бабушка почему-то останавливается.

– Ты меня вообще слышишь?

– Ну да...

– Я спрашиваю: к реке хочешь пойти? Правда, там ветрено, зато красиво!

– Я же ответил!

– Что ты ответил?

– Я сказал: да!

...Это ещё кто кого не слушает!

Мы идём на реку, там и правда красиво.

– Лёвка, понимаешь, так нельзя: ты живёшь только тем, что в твоей голове, ничего не видишь вокруг себя!

– Я вижу.

Ну, я же правда вижу!

– Давай так: назови мне сейчас десять интересных вещей, которые увидишь. Которые бы ты хотел, например, сфотографировать.

О, это я сразу говорю:

– Мост снизу. И ещё вот так мост сбоку, чтобы две беседки попадали симметрично между опорами. Это же два кадра считается, если два раза мост с разных ракурсов?

– Два, – бабушка улыбается.

– Фонарь – три. Утки – четыре. Лужа – пять.

– Зачем лужа?

– Красивая форма.

– Хорошо, принимается.

– Дерево – шесть.

– Какое дерево, вон тот дуб?

– Нет; вот это маленькое.

– А почему оно тебе нравится?

– Угол нравится.

– Какой угол?..

– Угол! Под каким ветка растёт от ствола. Так; теперь рекламный щит – семь, знак «Велосипедист» на дорожке – восемь, вот этот столб – девять, и... И давай твоя тень – десять.

– Моя тень?

– Да. А если рисовать кривую Леви пятого порядка, то...

Бабушка почему-то опять вздыхает.

\* \* \*

Утром я собираюсь в школу. И брюки рвутся. Совсем. В таком месте, которое никак нельзя зашить. Если бы на коленке – можно было бы так идти, в рваных. А так трусы видно через дырку.

– Всё, Лёвка. Иногда с вещами прощаются, они же не вечные... Ты и так их носил и в хвост, и в гриву...



В какой ещё хвост. В какую гриву. Я что, лошадь?  
В общем, в школу я не иду.

\* \* \*

И тут мне приходит письмо. На почту. Я думал, реклама, оказалось – нет.  
Оказалось – Соня.  
«Тебя чего нет? Заболел?»  
Почему она спрашивает? Я ей в школе зачем, мы же только переписываемся?  
«Нет», – отвечаю я.  
Я же не заболел.

\* \* \*

Я верчу в руках кубик Рубика. Знаю алгоритм, но он длинный и не нравится мне, ищу новые способы.

Почему мне доставляет такое удовольствие? Видеть, что все его грани одного цвета, в порядке. А вот в комнате убраться такого удовольствия не доставляет.

Ведь это тоже красиво – чистый стол. «Все вещи на своих местах». Однако в кубике это понятные места, а дома... Даже если тоже понятные, то почему процесс уборки так неприятен, а процесс собирания кубика – так захватывающ? *Ющ*. Вот же словечко.

Думаю, именно потому, что не отработан алгоритм. Есть вещи, которые понятно, куда класть, с ними всё просто. Но появляются новые вещи, и с ними непонятно! Какие-то школьные листочки со сделанным заданием – выбросить жалко; мои бумажные штуки оригами – я их изобретаю; куски ручек – откуда только оно берётся, отдельные запчасти, в целую ручку потом не складываются? Если бы было так же понятно, как с кубиком: зелёные к зелёным, жёлтые к жёлтым.

– Лёвка, а ты можешь разгрести свой стол хотя бы немного?

...Как обидно. Я же сам хотел!

– Я думал об этом.

– Ну да, – говорит дедушка. – Со стороны может показаться, что я собираю кубик Рубика. А на самом деле я думаю, как разгрести бардак на столе.

– Но я же правда! Думаю!

Как обидно, когда не верят.

...Думаю, как написать Соне про кубик Рубика и порядок. Интересно слова выстраиваются в голове, когда думаешь письмом.

\* \* \*

– Я понимаю, как тебе это неприятно, – начинает бабушка издалека. – Но ты же сам понимаешь – это необходимо сделать.

Да, я понимаю. Но всё-таки какая же это гадость.

– Может, хотя бы через час? А?

– Лёвка! Ну ты же не маленький, ну что тебе даст этот час! А сейчас сходим, и всё. Как зуб вырвать.

Ничего не поделаешь; приходится идти.

Идти в магазин, покупать мне новые брюки для школы.

Вообще магазины одежды – это такой шквал цвета, бьёт по ушам; и люди, люди – и никуда не спрятаться. Потому что ты должен выбрать. Даже если не выбрать – просто кивнуть, согласиться: да, теперь ты будешь носить эту совершенно чужую вещь.

– Лёвка, ты пойми. Ведь и твои красные брюки когда-то висели в магазине на вешалке, и мы их купили... Они же не родились вместе с тобой!

– Они не красные, – говорю я.

Вообще мне довольно долго было всё равно, во что меня оденут. А потом стал замечать. Причём футболка или рубашка – не так важно, их почти не видно. А вот брюки... Как-то так у меня устроена голова, что я часто их вижу. Когда иду, или когда в школе сижу – часто вижу свои ноги, в чём они. И почему-то обычный джинсовый спектр цветов мне не нравится. Не мои это ноги – если в синем или голубом.

Руки – тоже проблема; одно время мы сошлись на обыкновенном сером цвете, никак. Мои руки в серых рукавах – это нормально. И я ходил весь год в одинаковых серых водолазках. Потом это изменилось, есть и жёлтая футболка, почти белая – цвета песка в Прибалтике, мы там были на море, – и ещё две рубашки, которые можно терпеть. И водолазки с серыми рукавами.

Бабушка покупает их, а потом они долго лежат в шкафу, привыкают. Чтобы не были новыми. Терпеть не могу новые вещи, они совсем не мои.

...А сейчас нужно натянуть физкультурные штаны (других у меня нет, а кирпичные уже никак не зашить) и идти за школьными брюками. Такими, чтобы сразу ходить в них.

Сначала я надеялся, что мы купим точно такие же, кирпичные, но побольше. Но их не было.

– Лёва, а эти? Оранжевые тоже?

Вообще другой цвет! Как она не видит?..

Я не помню, как мы ходим; я кручу в голове мелодию из семи повторяющихся звуков – серия, но диатоническая – и стараюсь не видеть особенно, что вокруг. Нет, нет, нет, – говорю я. Бабушка у меня молодец: то, что она предлагает, не ужас. Но представить себе, что *это* прямо сегодня будет на моих ногах, не могу.

Потом мы едим мороженое. То есть я ем, а бабушка долго говорит по телефону. Потом она пьёт кофе, а мне разрешается опять крутить кубик Рубика и не смотреть на эти бесконечные мелькающие ткани. А потом к нам приезжает дедушка.

– Значит, так, – говорит он. – Заходим и покупаем. Вот уж не думал, что ты такой консерватор!

– Консерватор?

– Ну, не хочешь ничего менять. Если бы все люди носили только ту одежду, к которой привыкли, мы бы в шкурах ходили до сих пор!

...А ведь правда.

– Консерваторы – это те люди, которые говорили Прокофьеву: это не музыка! вытирание клавиш!

Неужели?.. Неужели я такой человек...

– Вот! Чем плохо? – спрашивает дедушка и берёт с полки первые попавшиеся джинсы. Не синие: это он знает. Цвета выгоревшей травы. Они не выглядят новыми, такой пыльный цвет, степной, августовский.

– Да, – говорю я.

– Да? – не верят они, разворачивают, и тут бабушка чуть не кричит:

– Миша, ты с ума сошёл! Это же комбинезон! Он с ляжками!

– Ну и что?..

– Как что?! Школьное же, нам нужно школьное!

– Ну и что, – упрямо твердит дедушка.

И я повторяю за ним.

Комбинезон на удивление мне подходит, с меня же всегда всё сваливается, а тут лямки держат, и вообще он на худого человека сшит, как раз на меня. И длинные брючины – можно подвернуть пока, а потом носить долго.

– Ты хочешь, чтобы он так ходил в школу? – спрашивает бабушка.

– Разве некрасиво? – спрашивает дедушка.

– Красиво, но...

В общем, в этом комбинезоне я иду домой. Иногда поглядываю на свои коленки – и ничего, вполне терпимо. Почти мои. Но всё же чего-то не хватает.

...Утром я встаю раньше бабушки и сразу смотрю на новый комбинезон. Хороший, можно в нём идти. Хотя...

Я достаю свои старые кирпичные брюки и большими ножницами отрезаю кусок. Сначала не режется, а потом приспособился. Почти квадрат получился.

Потом пришил его на новый комбинезон, чуть ниже кармана. Если сидеть за партой и опустить глаза – как раз там будет он, мой кирпичный цвет, дорийский минор, повышенная шестая ступень.

...Осколок красного кирпича на пустыре высохшей травы. Красиво. У меня даже гармония звучит в голове, чередуются два аккорда, пульсируют – никак не могу поймать их нотами...

В школу меня провожал дедушка, бабушка не стала вставать, давление у неё.

– Это не слишком? – спросил он меня про заплатку.

– Нет, – ответил я.

И дедушка ничего не сказал, только опять вздохнул. И я пошёл в школу с этой заплаткой.

\* \* \*

Подхожу и сразу же, ещё на улице вижу Соню. И она улыбается мне:

– О, привет!

– Привет, – говорю я и тоже улыбаюсь.

Соня смотрит на меня как на сумасшедшего. И тут я понял: она улыбалась не мне, а кому-то другому за моей спиной.

Я обернулся и увидел Комлева.

...Спасла меня только кирпичная заплатка. Я сидел, и всё смотрел и смотрел на неё, и ковырял пальцем. К четвёртому уроку она почти совсем оторвалась, болталась на двух нитках. Я оторвал её окончательно и сунул в карман.

И увидел в телефоне письмо от Сони.

«Ты не обиделся? Извини, но мы же договорились».

Написал: нет, не обиделся.

И не отправил.

\* \* \*

А на пятом уроке заболел учитель, и к нам пришёл психолог. Тесты какие-то проводить. Я уже заранее знаю: если тесты, то хорошего не жди. Всегда потом дедушка в школу идёт.

Но это был не наш психолог, а совсем молодая девушка-студентка, выпускница нашей школы. Я не особенно её слушал; то есть слушал, но не мог понять, о чём речь. А потом она дала задание: «Напишите десять вещей, которые вы любите. И десять, которые не любите. Нет, не обязательно вещей – это может быть всё что угодно. Что вы любите и что не любите».

– А можно больше десяти? – спросила Соня.

– Можно, – улыбнулась девушка.

Я сначала не знал, что писать, и стал сворачивать свой листочек с уголка. С правого верхнего; накручивал на ручку. Так я сидел довольно долго. А потом ручка упала, я полез под парту и увидел там свою заплатку, выпала откуда-то.

И я стал писать.

*Цвет старого кирпича  
Дорийский минор*

Потом посмотрел на слово «минор» и понял, что дальше писать.

*Слова из нечётного количества букв  
Числа 23 и 79  
Фракталы  
Ролики  
Числа Фибоначчи  
Вторую низкую ступень в мажоре (неаполитанский аккорд)  
Пельмени  
Запах железной дороги  
Кубик Рубика  
Лежать на животе  
Маятник Фуко (никогда не видел, но хотел бы)*

Поднял голову – оказалось, все уже сдали свои листочки и ушли. А я так и не успел написать, чего я не люблю.

Девушка-психолог посмотрела на мой листочек и сказала:

– Подпиши.

Я посмотрел на неё ещё раз, на её свитер и джинсы. И написал: *сочетание синего и оранжевого цветов.*

А потом подписал листочек.

И она сказала:

– Кажется, ты интересный человек, Лев Иноземцев.

– Кажется, вы тоже, – сказал я.

...Взрослые говорят мне иногда, что я умный. Или там ещё что – про математический склад ума ещё любят. Но что я интересный человек – слышал только от Сони, и теперь вот: второй раз.

У девушки-психолога очень красивый свитер-джинсы, правда. Редко увидишь такое толковое сочетание цветов. Дело именно не в конкретном цвете, а в сочетании.

\* \* \*

Дедушка опять был в школе. Я думал, из-за теста его вызвали, что я сделал как-то не так. Я же не написал, что мне не нравится! Не успел.

Оказалось, нет. Оказалось, опять я неадекватно себя веду. Чего вот я им неадекватный? Нормальный я. Просто мне часто непонятно, чего они от меня хотят. Тогда я злюсь. Но ведь они тоже не понимают, чего я хочу от них? И чем я хуже?..

А про тесты ничего такого не говорили.

– Ничего, Лёва, прорвёмся, – сказал дедушка. – Бывало и похуже. Вообще ты вырастешь.

Потом они долго говорят на кухне с бабушкой, а я слушаю Шёнберга. В наушниках – чтобы не мешать. А потом мы едим мороженое, все вместе.

И идём гулять на реку.

\* \* \*

Я решил не писать Соне. Потому что если ей интересен такой человек, как Комлев... Я тут при чём тогда вообще?

В школу тоже решили не ходить какое-то время. Я и правда устал ужасно; можно дома побыть, мне разрешают. Задания я все делаю, это нетрудно. А с английским мне дедушка помогает.

\* \* \*

Зима какая-то была непонятная. Я заболел; выздоровел – и опять заболел. Зимой почему-то всё время так.

Мне подарили гитару, не новую – просто отдали знакомые. Я сначала совсем не мог играть: пальцам очень больно на струны нажимать. Просто невыносимо больно! Как только люди играют?... А потом ничего, привык. Я просто зажимаю разные аккорды и смотрю, как они звучат.

Бабушка считает, что я бестолково бренчу. Но я-то знаю, что нет.

Как-то написала Соня, сама. Спросила, нужны ли мне уроки. Конечно, нужны: у нас очень много не по учебнику, на листочках. И она стала мне присылать все эти листочки и свои записи.

Хорошо, почерк у неё разборчивый, и пишет толково – соображает. Я не люблю, когда с ошибками пишут, сразу очень расстраиваюсь и не улавливаю смысл.

В общем, сначала я ей отвечал только «спасибо». А потом стал рассказывать – какие аккорды на гитаре какого цвета. Как я перебираю эти аккорды и будто вижу наложение разных цветов: будто в тёмном зале большие квадраты лимонного цвета, потом тёмно-гранатовые треугольники, и всё это будто грубой гуашью прямо на стене. Соня сказала – есть такой художник, Мондриан. Я нашёл в интернете – да, очень похоже.

А лицо Сонино я совсем забыл, и мелодию её лица тоже не помню.

\* \* \*

Терпеть не могу поликлинику. Если бы меня спросили – никогда бы не покрасил стены в такие цвета. Бедные врачи; мы пришли и ушли, а они всё время там! И дети ещё маленькие приходят; да ещё такие, как я в детстве, орут всё время. Не позавидуешь.

Есть вещи, которые для всех людей простые, а для меня сложные. Горло показать, например. Хотя я до сих пор не верю, что кому-то это просто. Но в целом меня выписали наконец, пойду в школу. Если честно – сил моих больше нет дома сидеть. Скучно.

Спускаемся по лестнице, и дедушка говорит:

– Наконец-то с тобой можно нормально в поликлинику ходить. Без валерьянки. Раньше ужас что было.

Выходим, и тут он говорит ещё: попрощайся с охранником.

– Прощайте, – говорю я.

– Лёва!

...Что я сделал не так?

На улице дедушка объясняет разницу. Что «прощайте» – это последний раз, больше не увидимся. А «до свидания» означает, что мы хотим ещё раз встретиться.

– Но я не хочу с ним ещё раз встречаться!

– Это невежливо!

Кто их придумывает, эти правила?..

\* \* \*

Мы пришли из поликлиники. И я стал рассказывать бабушке про этого охранника; почему говорить «прощайте» чужому человеку невежливо?

А бабушка вдруг сказала:

– Рома разбился.

Я по инерции ещё продолжал говорить, что мне совершенно не обидно, если мне говорят «прощайте»; но дедушка меня оборвал:

– Помолчи, Лёва. Неужели ты не можешь замолчать!

Я хотел обидеться; но тут до меня дошло, что бабушка сказала.

– Как? – спросил дедушка.

А я вдруг представил, что Рома – это ёлочная игрушка. Он разбился, потому что сделан из очень тонкого стекла, а изнутри он зеркальный, и лежат вот эти осколки – поднимешь, перевернёшь зеркальное стекло и увидишь кусок Ромы. Кусок его щеки, например, и висок, и брови.

Нет, это чушь какая-то. Я что-то не так понял или не так услышал.

Я очнулся и понял, что бабушка меня обняла за голову и говорит: «Лёвка, успокойся, успокойся – Рома живой, живой».

Оказалось, я сижу на полу и раскачиваюсь. Со мной это редко бывает: в детстве было часто, теперь прошло. Раскачиваюсь и немного пою.

А потом до меня дошёл смысл слова «живой».

– Что такое «разбился»? – спросил я.

– На машине; попал в аварию, – объяснила бабушка. – Он в больнице сейчас.

А, в больнице. Это понятно. Я тоже часто бываю в больнице. Это не страшно.

Потом я узнал из разговоров, что Рома ехал правильно, он ни в чём не виноват. А виноват водитель грузовика – «не справился с управлением». И что у Ромкиной машины снесены задние сиденья. Те, на которых обычно девчонки его сидят. Но он в тот раз ехал один.

И что его успели достать из машины чужие люди.

Много раз говорили, что ему повезло. Повезло – что девчонок не было; что эти чужие люди остановились и успели его достать и что «скорая» быстро приехала.

Ну вот, сами всё время говорят – «повезло». Значит, всё нормально должно быть.

\* \* \*

...Рома был в больнице, его жена с ним всё время сидела. Меня в больницу не пустили почему-то.

А близнецов Марту и Марусю отправили к Ромкиной бабушке Рите – к той, которая подруга моей бабушки.

И мы пошли к ним в гости. Бабушка Маша наготовила пирожков, дедушка Миша взял большой рюкзак с едой, и мы поехали.

– А зачем столько еды? – спросил я.

– Ты представляешь, что такое маленькие дети? Рите совершенно некогда готовить!

Зря они меня пугали маленькими детьми: дети как дети. Мы с ними сразу ушли играть, они так хорошо играют! Говорят «дай», и «на», и «бух» – если что-то упало. И ещё есть другие слова: «кеми», «дыю», «ся», «бюдя» и другие. Я даже решил словарь составить, так интересно! Я сначала не мог отличить, кто из них Марта, а кто Маруся, а потом научился.

У них такие большие кубики пластмассовые! Я из них стал строить дом, а девчонки мне мешали, но не сильно. Потом они меня дёргали за волосы, но не больно.

А потом вдруг бабушка сказала, что пора уходить. А мы вроде бы только пришли!

...На обратном пути она сказала дедушке:

– Никогда не думала, что Лёвка так заботливо с малышами может играть.

Ничего не заботливо. Просто мне с ними интересно. А ещё бабушка сказала, что Роме спасли глаз. А я и не знал, что его спасали.

Я потом только понял – мне всегда говорили хорошие новости. Что глаз спасли, что Рома проснулся, что он поел сам.

А что он спал первые четыре дня подряд, и что его кормили через капельницу, и что у него сильный ожог лица – я узнал только потом. Вот почему они не хотели, чтобы я к нему в больницу ходил!

Зато разрешили писать письма. И я стал писать Роме, обыкновенно, на бумаге, а не через телефон.

А потом придумал девчонкам пальцы макать в краску, и мы с ними тоже письма писали. Правда, без слов, просто кляксами. Но Рома понимал всё равно.

\* \* \*

Я увидел Рому только в марте. Правая сторона лица у него была как раньше, а левая – не как раньше.

– Чего гитару не взял? – спросил меня Рома.

– Я не знал, что можно.

– Можно-можно! Устроили бы тут концерт по заявкам...

Я не знал, что такое «заявка», думал, это вроде пиявок; мы стали с Ромой придумывать, какой это может быть «концерт по пиявкам», а потом пришла медсестра и сказала, что мы очень шумим и нечего так хохотать.

А Ромкин сосед по палате – дед, заросший щетиной (и на голове, и на подбородке одинаковая седая щётка, а во рту золотой зуб), – этот дед сказал:

– Пускай шумят! Наконец пришёл *нормальный* человек, люди могут посмеяться *нормально!*

И я стал так смеяться, что не мог остановиться.

...Бабушка почему-то думала, что я Ромкиного лица испугаюсь. А чего пугаться – Рома же! И он всё время ко мне поворачивался правильной стороной.

\* \* \*

В следующий раз мы с Ромой играли в города.

– Алушка! – Алушта! – Анкара! – Аддис-Абеба! – Астана! – Атланта!

– О, чувствуются профессионалы! – сказал щетинистый сосед; его, кстати, звали Климент. Такое редкое имя. – Интересно наблюдать. Какой там футбол!

– Алма-Ата! – сказал Рома.

– Неправильно, – сказал я. – Теперь правильно – Алматы.

– Ну, и Алматы, – сказал Рома.

– Ытык-Кюёль!

– Это где же такое? – спросил Климент, и какой-то парень полез в телефон гуглить. Оказывается, у нас уже полпалаты народу набилось болельщиков, смотреть, как мы играем.

– Лозанна!

– Ну, поехали дальше: Аделаида!

– Антофагаста!

– Такого точно нет, – сказала медсестра.

– Есть, – сказал вдруг Климент с золотым зубом. – В Латинской Америке.

– Точно, в Чили. А ещё в Чили есть Арика.

– А в Перу – Арекипа.

– Аруша!

– Это ещё где?

– В Африке.

– Ты по атласу готовился, что ли? – спросил меня Климент.

– Нет, мы с дедушкой часто играем.

– А у меня дома карта на стене висела в детстве, – объяснил Рома. – Анна!

– Чего Анна? – удивилась медсестра.

– Ничего, это город такой.

– В Африке?

– Да нет, в Воронежской области.

– Надо же, я тоже Анна, и не знала...

– Никакой это не город, а посёлок городского типа, – сказал я.

– У тебя что, гугл в голове? – спросил парень с телефоном.

– Нет, просто мы с дедушкой играли и проверяли уже.

– Слушай, ну город же! – заволновался Рома. – На карте есть...

– Посёлок, я проверил, – сказал тот парень, – крупный, шестнадцать тысяч жителей. Но посёлок.

– Ладно. Тогда Агра! – согласился Рома.

– Акита, – сказал я.

– А... Аккра.

– Асмэра.

– Дурака они валяют, а вы верите! – сказала медсестра, но парень покачал телефоном: – Я всё проверяю!

– Ну и проверяйте, не жалко. Аннаба.

Тут я сделал паузу, будто уже не знаю. А потом посмотрел на Рому и тихо чётко сказал:

– Анапа.

– Ч-чёрт, – выругался Рома.

– «Чёрт» – нет такого города!

\* \* \*

Потом его выписали домой. Правда, ходить Рома до лета не сможет – ему надо лежать. Зато дома! Там пианино же есть!

Ромке постель прямо рядом с пианино устроили. Он пока только правой рукой может играть, а левая в гипсе – двумя пальцами можно шевелить, но одну клавишу или две он нажимает нормально.

Я по телевизору видел пианиста – у него и две руки, и бабочка, и оркестр. И пот течёт со лба – страшно смотреть! А всё-таки мой Рома лёжа, с загипсованной рукой играет гораздо лучше. Того, по телевизору, мне скучно стало слушать. А Рому – никогда не скучно.



Мы с дедушкой приезжаем помогать с девчонками – гуляем с ними, играем. То есть я просто езжу в гости, а дедушка почему-то говорит, что я помогаю.

Рома обещал скоро уже начать со мной заниматься.

\* \* \*

Сегодня прошёл ливень, такой сильный-сильный, он смыл остатки снега, и улица стала как новая, и небо новое, весеннее.

Мы идём вместе с дедушкой на почту. Дедушка иногда пишет длинные письма своим друзьям, настоящие, бумажные. Потом мы идём на почту, покупаем конверты и иногда открытки. Открытки дедушка покупает без меня, я их не люблю. Я люблю марки. Не все, правда, – но иногда попадаются и правда красивые.

Когда мы выходим на улицу, небо уже совсем синее и высокое – совсем не зимнее. А на переходе стоит девушка в жёлтой юбке.

Я даже глаза закрыл, какой цвет. Юбка длинная, развевается на ветру, и цвет её – не прямой жёлтый, не плоский, а песок с примесью глины, скалистый осыпающийся берег у моря, пахнет мокрым деревом... На фоне неба.

И у меня в голове пошли аккорды, сразу. Закрыл глаза – цвет остался в голове, и аккорды остались – такие с септимами, с нонами, где-то наверху, в верхнем регистре. И вообще никаких басов, жёлтые аккорды оторваны от земли...

– Лёва, зелёный!

Я даже испугался, откуда зелёный – зелёный сюда не надо! А потом понял, это светофор наш зажёгся.

Юбка осталась там, на переходе, ждёт кого-то. И сказала мне:

– Чего уставился? Рот закрой!

Мой дедушка Миша остановился. А потом вернулся вместе со мной обратно и сказал:

– Зря вы так. Мой внук особенно чувствует цвета, а у вас очень красивая юбка. Правда.

Я поднял глаза и увидел, что кроме юбки у неё ещё очень выдающиеся формы. Но у свитера цвет не очень, поэтому я опять перевёл глаза на юбку. Лица вообще не рассмотрел.

– Он у вас... Извините, он... нормальный? – спросила юбка.

– Да. Даже немного больше – он художник, – ответил дедушка очень спокойно.

И мне тоже было спокойно. И тут она сказала:

– Извините. Простите меня, пожалуйста! У меня просто очень плохой день.

– Зато у вас очень красивая юбка, – галантно сказал дедушка.

– Именно поэтому, – усмехнулась девушка, и я наконец рассмотрел лицо. Некрасивая и старше, чем я думал. – Когда плохой день, – добавила она, – нужно его чем-то красивым... Разбавлять.

– Вы тоже художник? – спросил я.

– В некотором роде. А ты, Лёва, извини меня, ладно?

– Ладно. Можно, я ещё посмотрю?

Она засмеялась. А дедушка мой сказал ей:

– Не такой уж плохой день, а?

\* \* \*

Надо же, уже все дорожки высохли – и вдруг пошёл снег. Всю зиму толком не было снега, и тут! В марте. Такими огромными хлопьями, валит и валит. Всё стало очень красивым. Я люблю, когда снег, он вкусный. А бабушка говорит, что она столько меня лечила и как мне не стыдно.

Но я уже не болею. Правда, хожу в тёмных очках – снег очень слепит глаза, у меня сразу болит голова, текут слёзы, и из носа тоже течёт.

Я вернулся в школу и сразу увидел Соню. Она сидит с Комлевым, разговаривает с ним. Они за третьей партой, а я за четвёртой в соседнем ряду. Я вижу Соню под определённым углом, и этот угол мне нравится. Я вижу не лицо, а ухо. Ухо, кстати, вполне тоже звучит. Ещё часть щеки и руку – она всё время заправляет волосы за это ухо. И они сразу же обратно! Сразу или почти сразу, в среднем за одиннадцать секунд: самое быстрое было за две, а один раз почти минуту держались.

А Комлева я вынес за скобки, чего мне какой-то Комлев. Пусть Соня сидит с кем хочет. И разговаривает тоже с кем хочет.

С таким ухом можно.

\* \* \*

Географию я люблю, я уже говорил. И совсем не виноват, что так получилось. Что учительница ошиблась. Она вместо «тропический» сказала «экваториальный пояс».

Перепутала. Как бабушка иногда говорит другое. Я бы не стал её поправлять; но ведь кто-то может подумать, что она не ошиблась, что это правильно!

И я сказал:

– Тропический.

– Что?

– Вы хотели сказать, тропический пояс.

– Я так и сказала.

– Вы сказали – экваториальный.

– Нет, я этого не говорила! Иноземцев, как без тебя было спокойно!

Это было ужасно несправедливо. Ведь я был прав, и это все видели! Я думал об этом некоторое время, уже и урок закончился – а я всё думал. И наконец не выдержал и двинул изо всех сил кулаком по столу. И заорал, конечно, – больно же!

– А, – сказал Комлев. – Наш придурок опять на месте. А я думал, тебя в другую школу перевели. Для таких уроков, как ты.

Я сжал голову руками, но это бесполезно; я уже знаю, что сейчас будет. Взрыв фиолетового и коричневого, перед глазами будто с грохотом падают какие-то доски, камни, цветные пятна... Я пока держусь, но через секунду меня сорвёт.

И тут будто сквозь плёнку я слышу Сонин голос:

– Ты сам придурок, понял?! Оставь его в покое! Если хочешь знать, он тебя умнее в сто раз!

...Я не понимаю, кому она это говорит. Для этого нужно открыть глаза. Но, кажется, камни и доски стали падать медленнее. Точнее, совсем перестали.

– У тебя голова болит, Лёва? – спрашивает Соня. При всех.

– Да.

– Пойдём, я тебя к медсестре отведу. Пойдём?

Я пока не понимаю, что со мной происходит. Я будто потерял точку опоры, сбилась система координат. Мне трудно встать; и Соня даёт мне руку.

– Пойдём.

– Решила в санитарку поиграть? Тащить раненого с поля боя? – спрашивает Комлев.

– Отвали, – говорит ему Соня. – Не видишь, плохо человеку.

\* \* \*

... Уже начался следующий урок, на лестнице никого нет. И Соня говорит мне:

– Ты только не думай. Кирилл не злой. Он... Он тоже умный – не такой, конечно, как ты. Просто он не понимает, когда люди другие. Непонятные.

– Я другой? Непонятный?

Кажется, я первый раз смотрю человеку в глаза. Обычно это очень неприятно; но тут нормально. Светло-карие глаза, с зелёным оттенком. Я рассматриваю, как у Сони устроена радужная оболочка. Этот цвет вытесняет мешанину фиолетового и коричневого у меня в голове.

– Ты не совсем обычный, Лёва, – говорит Соня.

Она отводит глаза. И добавляет:

– И это очень хорошо.

... Потом я сижу у медсестры. Она мне разрешила надеть мои тёмные очки, напоила сладким чаем и дала лист бумаги, я там закрашиваю клеточки.

– Ты хочешь домой пойти или можешь ещё на уроки?

Последний урок – математика. У нового учителя со странной головой, Константина Михайловича. Голова у него совсем лысая и несимметричная. Мятая какая-то. Но я бы не сказал, что он некрасивый. Просто необычная голова. Я его уже видел, мне показали – но урока ещё не было.

Мне жаль это пропускать.

Там, у медсестры, я перевернул листок с закрашенными клеточками и сразу, начисто, записал мелодию Сониного уха. Даже гармонии внизу подписал, буквами. Такие можно на гитаре играть, а мелодию петь про себя.

– Если чувствуешь себя нормально, можешь идти.

Я чувствую себя нормально. Даже немного лучше, чем нормально.

Это первый раз со мной. Когда я вырулил из такого штопора, не орал, не злился и всё помню. Значит, я могу. Могу с собой справляться. И даже слово «урод» не кажется таким уж страшным. Похоже на «бутерброд». Надо просто в голове успеть сказать: «Урод – бутерброд, бутерброд с сыром». И нормально!

И я пошёл на математику, совсем спокойно. Ещё подумал, что *Кирилл Комлев* – квадратное имя. Имя и фамилия на «к»; и количество букв совпадает. Можно вписать в квадрат: по горизонтали и вертикали.

Если бы мне такое квадратное имя... Меня звали бы, скажем, *Иннокентий*... нет, лишняя буква. Тогда *Иеронимус*. *Иеронимус Иноземцев*. Вот был бы ужас.

\* \* \*

– А вы знаете, какой сегодня день? – спросил Константин Михайлович. Свет интересно падает на его голову, блики на гладкой голове перемещаются всё время.

Все молчали.

– Пятница? – спросил Комлев.

– Да, но не просто пятница.

– Я знаю; сегодня День числа «пи», – сказал я.

– Ты Лёва Иноземцев? – спросил он.

– Да. Откуда вы знаете?

– Ты известная личность, – говорит математик. – Можешь рассказать всем, почему сегодня математики отмечают День числа «пи»?

... Что я за известная личность, интересно.

– Просто дата совпадает с числом «пи», с первыми знаками. Три целых четырнадцать сотых, – а сегодня четырнадцатое марта, третий месяц.

– Точно. А ты можешь рассказать подробнее, что это за число «пи» такое? – спросил он. Интересно, я за него буду всем математику объяснять?

– Если длину окружности разделить на диаметр, всегда получается это число. Его нельзя записать десятичной дробью, оно иррациональное. Округлённо равно три и четырнадцать как раз.

Конечно, мы всего этого пока не проходили. Но ничего тут такого особенного нет.

– А тебе нравятся такие числа? – спросил вдруг этот Константин.

Неожиданный вопрос; обычно на уроках такого не спрашивают. Я вдруг понимаю, что он хотя и лысый, но это не от возраста. Он совсем молодой человек, его все Костей зовут, наверное, кроме учеников.

– Да, – говорю я. – Нравятся.

– А сколько ты знаешь знаков после запятой? В числе «пи»?

– Кажется, двадцать три... Дальше не уверен.

– Круто, – говорит Костя. – Можешь записать?

И даёт мне мел. И я пишу на доске:

3,1415926535897932384626433

– Дальше не помню.

... Тут он берёт у меня мел и пишет дальше:

832795

В классе тихо-тихо, слышно, как лампочка гудит. И тут Соня спрашивает:

– Константин Михайлович... А зачем это нужно? Наизусть столько цифр – вам зачем?

Он обернулся, смотрит на неё внимательно. Руку забыл опустить, так и держит у доски.

– Ты знаешь какие-нибудь стихи наизусть? Не по программе, а просто так?

Соня пожимает плечами. Не знает.

– Я знаю, – вдруг говорит Комлев. Кто его просил лезть.

– А музыку? – спрашиваю вдруг я.

– Музыку да, – отвечает Соня, – много. Неужели для вас эти цифры – как музыка?

– Вроде того, – кивает своей неправильной головой учитель Костя. – Кстати, я тут слышал такую вещь: одни ребята записали музыку числа «пи».

– Как это?

– Сейчас включу.

Он кладёт мел прямо на стол, возится со своим телефоном, а потом включает.

Мне не нравится. Электронный звук, выдуманный. Я сразу понял: они каждую цифру обозначили как звук и пошли повторять вот эти цифры после запятой...

– Нет, – говорю я и зажимаю уши.

– Почему нет? – Костя спокойно спрашивает, не злится, не кричит, не ругает меня. Просто интересуется, почему нет. Телефон испачкал мелом: белые отпечатки.

– Это не похоже на число «пи», это формально... Ну... Представьте: если это число в другой системе счисления записать, в восьмеричной, например... Ведь цифры другие будут! А число «пи» от этого не зависит, оно совсем другое, и всё!

Я не могу объяснить и начинаю злиться.

– Это очень интересно, Лёва, – говорит учитель Костя. – А ты можешь представить, как надо? У чисел есть связь с музыкой?

– Я не знаю, – мне никогда не приходилось говорить об этом вслух, только в письмах с Соней. Я начинаю заикаться, трудно говорить. – Просто это число хорошо организовано. В

нём есть система, которую мы не понимаем, не видим. Тут есть что-то непонятное – как будто мы видим только то, что снаружи... музыка. Музыка тоже организована непонятно.

– Мне бы хотелось поговорить с тобой, Лев, – говорит Костя. – Можешь остаться потом?

– Да, конечно.

И он съёт свой телефон, испачканный мелом, в карман:

– А сейчас откройте номер четыреста девятнадцать.

\* \* \*

Я остался на перемене, и Костя стал спрашивать:

– Тебя особенно интересует математика, так?

– Не совсем... То есть и м-математика тоже, но... Я не знаю.

Я начал заикаться, мне хотелось ему объяснить очень точно, что же меня интересует; а слова не находились.

– А музыка? Ты не торопись, попробуй объяснить. Это... это очень, очень интересно.

...Я начал говорить – и сам не заметил, что хожу по всему классу, размахивая руками и говорю, говорю: про звуки и цвет, про вот эти связи, про Набокова и Скрябина, про Рому, про фракталы...

– Лёва, ты меня извини, – вдруг останавливает меня он. – У меня сейчас урока нет, а у тебя ведь есть.

– А что, звонок был?

– Давно уже. Слушай... А с твоими родителями можно поговорить?

– У меня нет родителей.

– Как это?!.

– Меня подбросили инопланетяне.

Он смотрит на меня серьёзно:

– Правда?

– Да нет, это бабушка так шутит. У меня бабушка и дедушка, я не сирота.

– Я вижу... Слушай, а если я к тебе в гости напрашусь? Это... уместно?

– Ко мне? В гости? Ко мне никто никогда не ходил...

– Мне очень интересно, Лёва, поговорить с твоими бабушкой и дедушкой. Скажи мне ваш адрес? У меня ещё кружок у старшеклассников, после шести смогу. Далеко живёшь?

– Четырнадцать минут моим шагом.

– О, совсем рядом! Тогда в 18:14 жди меня, договорились? Ладно, пойдём, я сейчас тебя на урок провожу, скажу, что задержал по делу.

\* \* \*

А после биологии ко мне подошла Соня и говорит:

– Интересно про это число «пи».

Прямо при всех стала со мной говорить. Я пожал плечами.

– Кажется, нам повезло с математиком. Я сначала его испугалась, страшный какой-то. А оказалось – интересный. Вы с ним будто похожи.

Как мы можем быть похожи? Он лысый, а я лохматый... Хотя она права. В голове у него похожее, по крайней мере, он меня слушает. Раньше меня так только Рома слушал.

Я отвернулся от Сони и пошёл к подоконнику. Сел на него – у нас не разрешают, но всё равно все сидят, посмотрел в окно. А потом не выдержал, достал телефон и написал ей: «Я не понял. Мне можно с тобой говорить при всех или нет?»

И смотрел в телефон, ждал, пока она ответит. А потом поднял голову – она рядом стоит.

- Ты домой чего не идёшь?
- Костю жду. Математика. Мы не договорили.
- А, тогда... Тогда ладно. Я с тобой вместе подожду, хорошо?
- Ты со своим Кириллом поссорилась, что ли? – спросил я.
- Нет. Он... Он хороший человек, Лёва. И никакой он не мой Кирилл, а... мой друг. И ты... И ты мой друг тоже. Ты это понимаешь?
- Нет.
- Ну, вы разные... Он умный, и ты умный, по-разному... Он тебя больше не обидит, понимаешь?
- Так он дурак или умный?
- Соня засмеялась вдруг:
- Умный-умный, а иногда дурак. Теперь понял?
- Это да; я другое не понял. Я правда твой друг?
- Правда. Только... Только пиши мне иногда тоже, ладно? Как раньше писал.

\* \* \*

- Я вернулся домой и сразу мелодию стал подбирать на пианино.
- Что ты играешь? – спросила сразу бабушка.
  - Организованные сочетания звуковых волн.
  - Лёвка. Это... Это ты сам их организовал?
  - Ну. Почти сам, – я не стал говорить, что это Соня, с её лица прочитал, а не сам.
  - Всё-таки надо тебе музыкой заниматься.
  - А гитара, по её мнению, не музыка. Я же занимаюсь!
  - И сначала руки надо мыть, а потом за инструмент! – сказал дедушка. Вот удивительно; а бабушка мне этого не сказала.
- Мелодию Костиной неправильной головы я тоже слышу. Но не так, как у Сони: скорее, просто какая-то гармоническая последовательность. Попробовал и это тоже поиграть – нет, не ловится: сложные какие-то аккорды, не просто трезвучия. Завтра ещё посмотрю.

- А к нам сегодня мой учитель придёт, – говорю я им за обедом.
  - Какой ещё учитель?
  - Из школы. Новый.
  - Домой придёт? Господи, Лёва, что ты успел натворить!
  - Да ничего... Просто познакомиться.
- Дедушка вздыхает. И бабушка вздыхает. У них меняется цвет лица в бемольную сторону, и я стараюсь объяснить:
- Ничего не случилось! Честно! Он просто придёт! В гости! Ну, чего вы!
- Они опять вздыхают и переглядываются.
- Когда он придёт?
  - В восемнадцать часов четырнадцать минут.
- И они опять вздыхают и переглядываются!

\* \* \*

- В 18:14 позвонил Костя:
- Я около твоего подъезда, какой у вас код?
  - Шесть тысяч пятьсот шестьдесят один, – ответил я.

А потом открыл дверь и стал слушать лифт. У лифта ритм на четыре трёхдольных такта, как вальс, – и на затакт к следующему открываются двери на нашем этаже.

Пиджак у Кости застёгнут не на ту пуговицу и смешно топорщится на плече.

– Здравствуйте, – сказал он. – Какой у вас интересный код на домофоне.

– Да, – сказал я.

Костя первый человек, который это тоже заметил.

– Чем он такой интересный? – поинтересовалась бабушка.

– Степень тройки...

– Восьмая, – влез я.

– Да, три в восьмой степени. А меня зовут Константин Михайлович, я Лёвин учитель математики.

– Вижу, что математики... Кажется, Лёвка нашёл родственную душу.

– Это я нашёл, – ответил он.

\* \* \*

Никогда раньше не видел человека, который солит кофе. И сколько в человека может влезть этой чёрной солёной жидкости? Бабушка варит и варит, а он пьёт и пьёт. Кажется, по объёму уже как его голова. Как, интересно, рассчитать объём такой странной формы?

– Лёва у вас необыкновенный, – говорит Костя.

– Мы знаем, – говорит бабушка.

– Вам как... Не трудно?

– Иногда очень трудно. Но интересно. Знаете, даже захватывающе, – говорит дедушка.

– А в школе. Вам жалуются на него?

– Конечно, ещё как...

На что они всё жалуются. Не понимаю.

– Понимаете, Константин Михайлович, Лёвка нам достался... Как в сказке, будто мальчик-с-пальчик. Если бы мы были молоды, наверное, нам бы очень важно было, как что выглядит со стороны; хотелось бы, чтобы у нас был воспитанный ребёнок, всё как у людей...

– Я невоспитанный? – спрашиваю я.

– Ты иногда нестандартно себя ведёшь, так скажем... Так вот, знаете ли, в нашем возрасте, – продолжает дедушка, – не так важно, что подумают какие-то абстрактные «люди». Хочется, чтобы Лёвка был счастлив, и... И научился как-то жить без нас.

– Почему? – спрашиваю я.

– Почему-почему. Потому что нам сто пятьдесят лет на двоих.

– Сто пятьдесят один, – говорю я.

– Ну, вот видишь. Тем более.

Костя шумно отхлёбывает свой солёный кофе – а мне бабушка всегда говорит, что это некрасиво! – и говорит серьёзно:

– Мне кажется, Лёве очень повезло. С семьёй.

– Может быть, – улыбается бабушка. – Но и нам с ним ведь очень повезло. Он, знаете, всё плохое или неприятное с себя скидывает. Как с гуся вода, – она засмеялась.

– Да, как бы научиться так же... Хотя знаете, я... Я ведь тоже был необычным ребёнком.

– Вы? – удивился я.

Удивился даже не тому, что необычным, – а что он вообще был «ребёнком». Кажется, он сразу такой родился – со своей бритой неправильной головой.

– Да. Только у меня всё было не так. В моей семье считалось, что я ненормальный. И я учился в школе для умственно отсталых, – объясняет Костя и весело улыбается. Шутит, что ли?

– Как это?..

– Очень просто. Я долго говорить не умел, слова путал. Порядок слов. Знаешь выражение «двух слов связать не может?» Я его хорошо знаю. Жуткое, скажу тебе, ощущение: внутри все слова есть, но не упорядочиваются. Вываливаются кучей, все сразу... Поэтому я больше молчал. Сидел на последней парте; а за спиной у меня стоял шкаф с учебной литературой по математике. И я всю её методично изучил; там интересные книжки были: теория поля... Таскал эти учебники домой – то есть домой было нельзя, у меня зрение плохое, и мне не разрешали читать. И я шёл в метро, садился на кольцевую ветку и там учился.

– А потом?

– Потом меня раскрыли. Понимаете, я устно у доски вообще не мог отвечать – и считался дураком. А письменно – думали, списываю ответы; решения я тоже ужасно оформлял, и почерк так себе... потом учительница пришла новенькая, первый год вообще в школе работала. И рассекретила меня. «Костя, ты хоть понимаешь, какой ты умный!» – сказала.

Он улыбнулся и даже глаза закрыл, видно было, как ему приятно это вспоминать. А потом продолжил:

– Стала заниматься со мной отдельно: учить русскому, как языку. С английским у меня было неплохо, и она догадалась: взяла учебник русского для иностранцев. Так и научился говорить. По правилам: подлежащее, сказуемое. Меня зовут Костя Николаев, я живу в Москве, я школьник... А потом в голове что-то щёлкнуло, как головоломка сошлась; и я стал говорить свободно. Сейчас особенности речи почти незаметны. Или заметны?

– Нет, – сказали мы втроём.

– И что дальше? – спросила бабушка.

– Дальше обыкновенно. Разобрался постепенно, что к чему. Любые явления жизни можно через числа описать, алгоритм составить – тогда они мне становятся понятны. Поступил в университет – там уже хорошо учился. Закончил; остался на кафедре преподавать... А тут предложили в школу. И оказалось – мне с детьми легче, чем со взрослыми. Третий год работаю; в детстве не нравилось в школе; а сейчас хорошо. И вот – Лёва появился. И мне показалось... Мы очень похожи.

\* \* \*

Они говорят до самого вечера, про меня и про всё остальное. Бабушка мне потом сказала – ты понимаешь, что в школе этого не нужно рассказывать? Другим? Про Костину жизнь. Как будто я сам бы стал кому-то рассказывать!

Перед уходом Костя зачем-то извиняется:

– Простите, что я так много говорю. Кажется, впервые в жизни.

Потом он ушёл, а я совсем уже хотел лечь спать, – и тут увидел: письмо. От Сони. Длинное.

«Привет, Лёва. Я тоже решила написать письмо – если тебе будет скучно, не читай.

Мы поссорились с Кириллом. То есть письмо не про то, но всё равно.

Они играли в футбол, а мы с Верой смотрели, сидели на заборе. И тут они стали спорить, что-то там было или нет – а потом подрались. И одного мальчика стукнули головой об ворота. И у него кровь пошла из носа; а потом за ним приехал брат и увёз на машине, наверное, к врачу. Всё это было за несколько секунд.

А эти продолжали играть, как будто ничего не случилось. И я спросила Кирилла: что с тем мальчиком?

А он отвечает: „Откуда я знаю, он же не здесь живёт“.

Понимаешь? Как будто так важно, здесь живёт или нет.



И я подумала длинное, и решила тебе написать, что ты об этом скажешь, – это не про Кирилла.

Я подумала: люди всегда жили в состоянии войны. В древности, и потом: им надо было защищаться от врагов, завоёвывать добычу... Всегда у людей были враги-люди.

А сейчас можно жить без врагов. Заниматься музыкой, наукой. Или вишни сажать, как мой дедушка: он только и думает про свой сад. И ни с кем не ссорится.

А папа ссорится. С соседями, или если на машине едет – ругает других. И когда хоккей смотрит, кричит про «не наших» плохое. А ведь он хороший человек.

И Кирилл. Он же ты не знаешь, какой. Он стихи любит начала двадцатого века, я и поэтов не знаю таких. И на виолончели играет. Как он так может – „не здесь живёт“?! Когда про человека же!

Я думаю, людям очень трудно уйти от этого „враги“. И они придумывают их: иногда в спорте, иногда в жизни. Мы сами привыкли ссориться с „ашками“, а ведь там Оля учится, она в музыкальной школе моя подруга. А в обычной школе – нет, она „ашка“.

Я думаю, скоро появятся новые люди. Им не нужно будет ни с кем воевать, это отвалится, как хвост. Может, ты такой человек. Тебе же неинтересно драться, а интересно число „пи“. И мой дедушка – точно такой, новый человек».

Я потом даже не знал, про что думать: про Соню или про учителя Костю. Соня умная. Но я это и раньше знал. И никак не мог заснуть, смотрел на часы. Мне хотелось увидеть, как закончится день числа «пи». Наконец на часах зажглось 0:00.

Я никогда не знаю – это ещё конец старого дня или уже начало нового? Сам момент, когда 0:00 загорается.

Раньше твёрдо знал, что это следующий день. Но на дедушкином телефоне почему-то вместо этого загорается 24:00. Я сначала не верил, но однажды он специально разрешил мне не спать, чтобы посмотреть.

\* \* \*

Я проснулся очень поздно. Школу проспал. Никогда такого не было. Обычно если чуть позже встаю – голова тяжёлая. А тут ясная-ясная. Странно.

На кухне записка: «Лёва! Не смогли тебя разбудить. Я ушла в магазин, скоро вернусь. Если проснёшься раньше – на столе мюсли, залей молоком и подогрей в микроволновке».

Ничего себе, не смогли разбудить! Как же я спал!

Терпеть не могу тёплые мюсли, они становятся мягкие и тусклые. Наконец-то можно с холодным молоком их съесть. Почему-то голодный очень.

Я открыл холодильник и вдруг понял: у меня в голове такая же морозная ясность, как в морозилке. Потому что там сверкающим кристаллом сияет музыка. И я чётко её слышу. Могу сыграть и записать.

Я побежал к пианино и стал подбирать ноты. Пальцы не всегда слушались, но голова точно знала, какую клавишу нажимать. И они все звучали как надо.

Я играл, потом записывал на клеточках, своим способом; а потом, чтобы не забыть и не потерять этот кристалл, записал звук на диктофон.

Может, завтра окажется, что я ерунду написал. Но сейчас мне нравится. Впервые нравится то, что я придумал.

Я не слышал, как щёлкнул замок и пришла бабушка.

– Лёвка! Холодильник нараспашку, что случилось?!.

...Ничего не случилось. А может, и случилось: я впервые в жизни сделал стоящую вещь. А может, и нет. Не знаю. Посмотрим.

## Сальери

Выбежал на красный. Разогнался, не заметил; ноги бегут отдельно от головы. Взревел мотор, мимо пронёсся какой-то псих – кажется, в нескольких сантиметрах от меня, – и тут я очнулся, отскочил обратно на тротуар.

Кто ещё из нас псих. Ему ведь зелёный, вот и дал по газам.

Я стою под светофором, смотрю вверх. Прямо надо мной посреди чёрного неба – ослепительное светофорное солнце. Нет, солнца на чёрном небе не бывает, – просто красная планета в темноте, скажем, Марс. Как можно не заметить?!

Мимо пронеслась ещё одна машина. Вечер, людей почти нет никого. На пустой дороге все мчатся: конечно, им зелёный; под колёса может выскочить только самоубийца.

Никто бы не затормозил, не успел.

Даже очки вспотели, сползают с носа. Нет, хорошее воображение – зло.

Светофор мигает; наконец мне выдают двадцать одну секунду зелёного – слишком много. Перехожу дорогу к реке. Сияют фонари на набережной, отражаются в воде: сначала отражения чёткие, потом переходят в рябь, фонарные дорожки сливаются. Я люблю ночную воду. Днём, при солнце бывает больно смотреть, слепит глаза. А если день пасмурный – река кажется грязной, так, ничего особенного, просто много воды.

Только ночью можно представить, что это особенное место. И я – особенный человек, вижу это. Больше ведь никого нет.

...А мог бы сейчас лежать раздавленным в лепёшку. Был бы такой особенной лепёшкой, потому что с виолончелью. Виолончель в хлам, конечно. В щепки. Вот что было бы жалко.

\* \* \*

– Ну, и где ты ходишь? – спрашивает отец.

– Автобуса долго не было, пошёл пешком.

– Думаешь, я не могу посмотреть? Один за другим идут! – конечно, он знает. Кто только выдумал эти транспортные приложения в телефоне, следить за автобусами!

– Не было, – упрямо вру я. – Я долго ждал и пошёл, а тут как раз он меня обогнал.

– Почему в телефон не можешь программу поставить!

– Память кончилась.

– В голове у тебя память кончилась!

Чего вот он на меня кричит. Что, человек не может просто пойти пешком!..

– Я, между прочим, всё время сижу, – оправдываюсь я. – А надо ходить! Вот Никифоров шагомер купил, теперь специально тысячи шагов накручивает. А я всё в автобусе.

Моего одноклассника Никифорова отец уважает; это всегда козырь. Понятия не имею, есть у него на самом деле шагомер или нет.

– Болтаешься без дела! У меня, например, нет времени так просто гулять! – ворчит отец.

Конечно, нет. Зато есть время меня ругать. Человек, между прочим, голодный пришёл; дома не был с семи сорока пяти утра. И вообще только что чуть не умер. А отцу и дела нет.

– Котлеты разогрей, холодное не ешь, – говорит он.

И всё, нет его: он в своём компьютере.

Вот интересно, когда меня нет дома – он всегда за мной следит. Теперь ещё придумали специальные карточки: зашёл в школу – смс, вышел из школы – смс. Сел на троллейбус – его видно в яндексе. Зашёл в музыкалку, вышел. Троллейбус подошёл; должен быть дома. Прибыть из точки А в точку Б. Если не пришёл, сразу: где мальчик?

...А когда я дома – всё, можно меня не замечать.

Хорошо. Я съедаю котлету холодной, прямо руками из сковородки. Конечно, совсем не трудно закинуть её в микроволновку, но потом ждать целую минуту! И потом, если бы он не сказал «разогрей»!

Но котлета проскакивает в меня, и я добрею. Я всегда становлюсь лучше, когда у меня еда внутри.

Раскладываю себе красиво на тарелке картошку и ещё одну котлету. Добавляю зелень, режу сыр.

Я вообще люблю, когда красиво. Но это потом, когда уже котлета в животе.

А так элементарный голод глушит все эстетические чувства.

\* \* \*

Не выдержал. Написал Т.: «Меня чуть машина не сбила».

Не отвечает.

Что за человек?

Я пытался заняться чем-то, но всё время дёргал телефон: ответила, нет?

Нет. Я написал: «Тебе совсем наплевать, да?»

И не отправил. Потому что зачем?.. Значит, да. Ей на меня наплевать.

\* \* \*

Письменные уроки я сделал, а устные ладно – завтра посмотрю. Лучше позанимаюсь.

Достаю из чехла виолончель и на секунду вспоминаю, что нас с ней чуть не раздавили.

Да, я играю на виолончели. Это труд, я при деле, нигде не болтаюсь. Все довольны.

И никто не понимает, что это побег. Побег за пределы.

Родители в музыке не разбираются; мама, правда, любит иногда слушать. Но никто из них никогда не определит: играю я то, что задано, или нет.

Я снимаю очки и сажусь играть. Без очков думается лучше; а я думаю за виолончелью. И звуки, и слова сами приходят в голову, иногда я просто тяну длинные ноты и улетаю головой. Мне давно уже не трудно играть, руки не устают, пальцы не болят – только первый год было тяжело, пока мозоли не выросли. А сейчас я начинаю обычный этюд или даже гамму, а потом перехожу на своё. В своё вплетается чужое, потом опять вроде бы своё... А иногда руки сами подсказывают, что играть, пробую разное. Если получается удачно – повторяю. Мысль, повторённая дважды, приобретает объём; старые композиторы хорошо знали это.

Мама хотела, чтобы я играл на скрипке. Представляла себе: её мальчик в белой рубашке и бабочке исполняет что-то такое с оркестром.

Но на скрипку меня не взяли. Я оказался староват – третьеклассник. Сказали: у мальчика большие руки, попробуйте виолончель? Мама сначала переживала, как же: вместо скрипки такая здоровая неудобная штука! Таскать ещё! А мне тогда было всё равно, на чём скрипеть, виолончель так виолончель, слово красивое.

Только потом я понял, что мой инструмент – особенный. Пианистов довольно много, скрипачей тоже хватает. А виолончелистов мало. И потом виолончель стала отвечать мне, и я понял: у меня появился язык. Новый, другой; я могу им говорить! «Если так будешь заниматься – поедem с тобой на конкурс», – говорила мне Герда. Она и сейчас так говорит, хотя я занимаюсь, занимаюсь же! Но конкурсы мне не нужны, и Герда это чувствует.

На конкурсе я один раз уже играл. Неудачно; даже на второй тур не прошёл, переволновался.

Отец тогда кричал на меня.

«Я думал, ты и правда чего-то стоишь! А ты! Ты понимаешь или нет, что в любом деле надо быть лучшим? Так и останешься никем!»

...Потом я долго не мог взять в руки инструмент.

Я тогда уже понял, что лучшим не стану. Ни в чём.

Да нет, вру. Я ещё думал – своя музыка. Если я не могу быть виолончелистом, может, я стану композитором? Или поэтом. Поэтом, который говорит свои стихи под виолончель.

Да, некоторое время я думал, что и правда особенный. Что-то могу. Чего-то стою.

А потом в моей жизни появился Моцарт.

\* \* \*

...Только когда ставил будильник на телефоне, увидел – Т. ответила.

«Сейчас нормально всё?»

«Ок», – написал я.

«Извини, была занята».

Никогда раньше Т. не написала бы мне это «извини». Ну и я, правда, не написал бы ей «Ок».

Какая-то пустота внутри. Лучше бы она вообще ничего не писала.

\* \* \*

Моцарт ест сосиску в тесте. В школьной столовой. Натянул капюшон и жуёт. Посмотришь на такого – никогда не подумаешь. Ещё и смеётся с набитым ртом. Раньше я думал, что он просто псих; как вообще его в школу взяли?

Потом оказалось, он очень умный. Олимпиады по математике, физике, информатике. Даже Никифоров на его фоне как-то поблёк, а ведь раньше именно он был везде чемпион.

Если у тебя так прекрасно с математикой, зачем ещё музыка?!. Почему одним ничего, а другим – всё и сразу!

Я тоже хотел сосиску в тесте, я всегда ужасно хочу есть. Но после того, как Моцарт противно жуёт, мне и не хочется. Это я буду как он, что ли?

Кроме сосисок, и есть нечего.

Коржик и компот.

Какая-то уютная еда.

Как он оказался впереди меня в очереди! Всегда он переходит мне дорогу. Даже поесть нормально не даёт.

\* \* \*

Мы сидим на алгебре. Самостоятельная; и я не могу сделать первый номер. В ответе выходит адская дробь, а надо перевести в десятичные. Можно делить до старости, она всё не кончается! И периода не выходит никак. Ясно, что у меня ошибка, так не бывает!

Переделал – ещё хуже ответ получается.

Ладно, я бросил этот пример и взялся за следующий. Сзади слышно, как Моцарт стучит ручкой по зубам. И никто не делает ему замечаний. Надо же; вот зубы у него. Как у бобра.

Мне ужасно мешает этот звук; и вообще, Моцарт меня злит. Злит тем, что он сейчас всё сделает, и сдаст; и пойдёт читать свои странные книжки или решать сложное, ему всегда дают олимпиадные задачи. На десерт. А я решил только две из обязательных шести. И то не факт, что правильно. Потому что я тупой.

Вдруг Моцарт рычит, бросает ручку на пол и начинает топтать ногами.

– Что случилось? – подбегает Эппл, учитель.

– Этого не может быть! – орёт Моцарт. – Не может! Не делится!

Эппл подбегает к нему, быстро шевелит губами и говорит всем:

– Второй вариант, извините. В первом примере у вас опечатка. Сейчас исправлю, дам дополнительные десять минут, кому нужно.

...Вот теперь хочется заорать мне. Потому что, во-первых, столько времени зря мучился, и настроение испорчено, остальное тоже не могу решить.

А во-вторых – почему мне нельзя вот так, заорать, затоптать ногами? Мне тоже плохо! Очень плохо! Но я держу себя в руках. Мы все воспитанные люди, не малыши.

Все знаем, как надо. И если кто-то не сдержится, ему скажут: «Как ты себя ведёшь!»

А Моцарту можно. Ему всё можно! И никто не ставит его на место, носятся с ним, как с маленьким!

То есть раньше ругали, конечно. Не помогало – ещё больше орал. А сейчас у нас появился новый учитель математики, Эппл. И он Моцарта защищает изо всех сил.

Надо сказать, и Моцарт слегка успокоился. Такое, как сегодня, редко случается.

Эппл ещё извиняется. Он же не виноват, не он эти самостоятельные придумывает!

Между прочим, если бы я вот так заорал, никто бы не подумал проверить пример и извиниться.

...Главное даже не это. Вот я – вижу неправильный ответ и сразу думаю: это я виноват. Просто не могу найти свою ошибку. А Моцарт убеждён в своей непогрешимости! Он сразу орёт: не может быть!

\* \* \*

Лучше бы я про него не знал. Я раньше и не знал: жил и жил нормально. Зачем она мне кинула эту ссылку!

Она – это Т. Я уже перестал обижаться, что она сидит не со мной: привык. И что говорит только о нём. Конечно, сначала было не очень понятно: что она нашла в этом психе? Я думал, она его просто жалеет. В людях часто заложено желание благотворительности. Ну, у нас есть девочки, они животных спасают, одна вообще волонтёром ходит в приют, с собаками гулять. А Т. выгуливает Моцарта. Чтобы ему не так одиноко было. И правильно: надо помогать убогим, ушибленным головой. Ладно. Просто Т. – хорошая, добрая. Не должна же она быть злой.

И тут мне пришла от неё ссылка. Как бы между прочим; прямо на уроке. Я сначала не хотел даже открывать, почти забыл. Но это же Т.! Ерунду не посоветует. И мне всегда хотелось знать, что там, в её голове.

Ссылка оказалось на его музыку, и я расстроился. Просто ужасно! Вот, она прислала – и теперь я должен слушать, да! Вот ещё. Больно надо. Ну, какую музыку мог написать этот псих? Он и музыке не учился. Математик, и ладно. Музыка-то откуда?!

Но потом всё же открыл. Любопытно же: до какой степени может дойти человеческое самомнение. Надо считать себя таким гением, чтобы выкладывать свою музыку в интернет – при том, что даже в музыкальную школу не ходишь!

Я однажды так выложил стихи на одном сайте. И что? Восемнадцать просмотров. И всё. Хоть бы поругали – нет, никому не интересно. А я чего ждал? Всё же чего-то ждал, видимо.

А он? Чего он ждёт, интересно?

Странный ролик. Вроде ничего особенного; просто сочетания звуков на пианино. Разные аккорды, а поверх них – повторяющийся набор нот. Я послушал, ничего не понял.

Если бы не Т., я забыл бы об этом, да и всё. Но тут послушал ещё раз. И ещё. Чего она в нём нашла?

Эта музыка стала выстраиваться в моей голове. То есть мои уши настроились под неё. Бывают такие 3D-картинки: сначала видишь просто узор, но когда настроишь зрение – проступает совсем другое. И если один раз рассмотришь – потом уже не можешь не видеть, как раньше.

Набор аккордов приобрёл удивительную стройность.

Я не спал всю ночь. Просыпался, втыкал наушники и слушал, снова и снова. Пока эта музыка не зазвучала в моей голове безо всяких наушников.

Утром я встал с тяжёлой головой, как после дурного сна. Так бывает: помнишь, что был кошмар. А что конкретно – не помнишь. Рассказать невозможно; в словах теряется этот ужас. Что это было, что?

Я взял яйцо и разбил его ложечкой. Оно потекло – оказалось сырым. Мама забыла его сварить! Достала из холодильника и сразу мне... У неё тоже было неважное утро.

...Я смотрел, как это яйцо стекает на стол и мне на штаны, и в этот момент понял. Вспомнил его музыку и понял, что он – Моцарт.

А мне никогда не стать таким.

\* \* \*

Мы рубимся в пинг-понг. То есть я больше смотрю, как другие играют, – перемены короткие, а столов в коридоре всего два. И как только до меня дойдёт очередь – звонок. Или я быстро проигрываю, да и всё.

Тут же с ракеткой стоит Саша Ручинский, новенький. Ракетка у него тоже новенькая, не боевая. Видимо, Саша такой же теннисист, как и я.

Саша стоит и мнётся, его никто не замечает. В конце концов он спрашивает:

– Можно мне с вами?

Реакции ноль. Ещё и зацепят локтем, будто он пустое место. Не понимаю: как так можно с живым человеком? Только от того, что он новенький?!

– Давай со мной в пару, – говорю я Саше. – Правда, я плохо играю.

И тут как раз подходит наша очередь.

Мы играем вдвоём против одного Никифорова – он бьёт даже одиннадцатиклассников, сейчас и нас двоих вырубит под ноль.

И точно: первые пять подач мы пропустили.

А потом стало получаться! Сыгрались, и Никифоров мажет: раз, другой!

...Вокруг нас ходит Моцарт со своим телефоном. Ходит, ходит, накручивает круги – не может стоять спокойно! И ещё считает наши очки.

– Восемь-два!

Будто мы сами не знаем!

– Сетка, – говорит Саша. – Переподача.

– Не было, – вдруг возникает Никифоров.

– Была!

– Не было!

И тут Моцарт тоже как закричит:

– Не было! – как будто он видит! Он же в телефон смотрит всё время!

Решили всё же переиграть. Никифорову что, ему не жалко. Но я так разозлился на Моцарта, что решил загасить – и не попал в стол.

Вот чёрт. Луплю ракеткой по столу.

– Ладно, чего ты, – пожимает плечами Саша. – Всё равно уже.

Тоже мне, миротворец.

Моцарт, кстати, никогда не играет. Кажется, он просто не умеет. А проигрывать не хочет.

\* \* \*

Звонок; мы бежим на литературу. Я сажусь на своё место и вижу: у Моцарта под столом его ручка валяется. Ну, сейчас начнётся!

– Где моя ручка?!. Где-е!

Ну, так и знал! Я молчу. Потому что надоел орать! Что он, не может сам под столом посмотреть?!.

Он злится, краснеет. Вот же псих. Когда уже его из школы выгонят!

Прибегает Т., залезает под парту и достаёт ему ручку. Фу. Если бы я знал! Сказал бы ему, чтобы он сам полез. Ну что это такое, девчонки за него всю жизнь всё будут делать?!.

Натянул свой капюшон и сидит. Хоть бы спасибо сказал!

Т. поворачивается ко мне. И смотрит. Чего вот так смотреть, это же не я ему ручку скинул под стол!

\* \* \*

После школы заскакиваю к маме на работу. Получается небольшой крюк, но ближе, чем домой. У мамы на работе стоит моя виолончель – она её утром забирает к себе.

Потому что в школу мне с инструментом нельзя, там же дикие все, разобьют. Так что мама гордо вытаскивает её из машины и несёт на свой четвёртый этаж без лифта.

«Чего не сделаешь ради ребёнка, – говорит она. – Зато все знают, что у меня сын виолончелист!»

Мы обедаем в маминой столовой, вместе со взрослыми – я люблю эти виолончельные дни, вторник и пятницу. На работе мама какая-то другая. Моложе. И все в сто первый раз удивляются, какой я у неё взрослый сын.

Я рассказываю про алгебру, что в условии была опечатка.

– И ты делил? – спрашивает она.

– Ну да, до упора... так и не смог, какие-то безумные числа.

– Я бы округлила и бросила. Вот ты упрямый всё же, совсем как Глеб.

Разве я упрямый? Мне кажется, мама специально ищет, в чём я на отца похож. На самом деле совсем нет.

– Ладно, – говорит она. – Беги, опоздаешь. Герде большой привет!

\* \* \*

Я очень её люблю. Мою учительницу виолончели, Герду Вальтеровну. Не очень она и похожа на учительницу, других таких нет.

Короткая стрижка, джинсы и клетчатая рубашка; со спины она похожа на школьника, хотя на самом деле Герда старше моих родителей.

Она немного сумасшедшая. Часто говорит на уроках странные вещи, непонятные. Вообще она на ведьму похожа, в детстве я её боялся; и голос страшный, низкий такой.

Герда мне этим самым голосом говорит про локоть и про кисть, как надо всё мягче, а я деревянный; и про «с твоим слухом нельзя позволять себе такую интонацию», и что «за такую игру тебе даже в переходе денег не дадут, а то и побить могут».

А в конце урока вдруг:

– Характер есть. Стал не просто так играть, растёшь.



\* \* \*

...Я иду домой и даже немного подпрыгиваю от этих слов.

И ещё вспоминаю, как она однажды уехала в Германию, насовсем. И я бросил виолончель, не стал заниматься больше ни с кем.

А потом я как-то вышел из школы, и тут она. Я автоматически схватил шапку в кармане: все взрослые ругают, когда без шапки. Но ей и дела не было до моих замёрзших ушей.

– Почему ты бросил виолончель? – спросила она своим ведьминским голосом.

– Надоело, – ответил я.

– Совсем надоело?

– А почему вы ушли?! – закричал я. Потому что ей можно, а мне нельзя! Бросила меня, а я теперь должен!!!

– Я вернулась, – просто сказала она. – И я тебя жду.

И ушла, не оглядываясь.

Я два дня сопротивлялся. Что я ей, кукла? Хочу – играю, хочу – бросаю! Думал, она позвонит, будет уговаривать. Не позвонила.

Тогда я взял виолончель и пришёл.

– Не доставай инструмент, – сказала она. – Просто послушай.

И она стала играть мне Гаспара Кассадю. Я смотрел на её пальцы с широкими подушечками, будто специально виолончельными; как они точно встают на свои места, иногда скуповибрируют. Как смычок лежит на струне, будто не она управляет им, а он сам. Всё само.

Никогда я не завидовал ей. Никогда не думал: вот бы мне так же! Просто смотрел, растворялся. В её пальцах, в дрожании струны «до». Я сам был будто эта звучащая часть струны: от подставки до её пальца. А потом думал – почему она здесь, в музыкальной школе? Ведь могла бы играть концерты с оркестром!

...А сейчас играет только для меня одного.

Она опустила смычок и сказала:

– Слушай. У тебя могут быть самые разные отношения с людьми. Иногда думаешь, они одно; а оказывается, совсем другое. Самые близкие люди могут обмануть тебя. Никто не застрахован. Но пока у тебя есть руки – инструмент не предаст. Он всегда будет с тобой. Что бы ни случилось.

– А вы больше не уедете? – глупо спросил я.

– Нет, – сказала она без улыбки. – Наездилась. Но я тут ни при чём. Дело не во мне, а в инструменте. Я хочу дать тебе друга на всю жизнь. Понимаешь?

Я пришёл домой и долго играл по открытым струнам, пытаюсь поймать старое, привычное ощущение. Руки ватные, какие-то бестолковые пальцы. Как в первом классе. Ничего себе: виолончель всегда будет с тобой! Да она сейчас будто и не моя вовсе! Мстит, что я оставил её так надолго. Или нет?

Нет. Через три дня виолончель меня простила. И в правой руке, и в левой стало легко; кажется, даже легче, чем раньше. И я тогда впервые попробовал играть своё. И решил: даже если Герда опять исчезнет, виолончель я не оставляю.

\* \* \*

Я даже думал, что я композитор. Что моя музыка – это особенное, необыкновенное; ведь раньше её не было! Я сочинил, сам! Можно сказать, я был счастлив.

В нашей музыкальной школе есть композитор, девочка Валя: она играет на концертах свою музыку. Вале я не завидую. Она удивительно некрасивая: широкие скулы, лохматые брови и зубы вперёд торчат. Девочке, наверное, трудно с такой внешностью. И она занимается каждый день с пяти лет, на пианино и на флейте; изучает теорию музыки по особой программе, ходит отдельно к учителю по композиции. Чему тут завидовать?

И музыка у неё красивая. И лицо становится красивое, когда играет. И она ни с кем не дружит, всегда одна: очень стеснительная. Я с ней как-то поздоровался, она вся покрылась красными пятнами и тихо-тихо прошелестела одними губами: привет.

Трудно ей жить, жалко даже. Зато у неё есть её музыка. Нет, я не завидовал ей. Разве что совсем чуть-чуть.

В общем, я раньше и не знал особенно, что такое зависть. Разве что когда приходил к Т., и они там смеялись с родителями – тут да. Мне становилось обидно, что у меня всё совсем не так.

А если человек что-то умеет лучше меня – так что же? Умеет! Вот Валя: у неё дар. От природы. Но она же не как соловей поёт, а работает. Или ещё Никифоров: учится лучше всех, конкурсы, олимпиады. Скучный человек, поговорить не о чем. Будто прибор для решения задач. И завидовать особенно нечему.

Так что раньше я не был таким злым.

\* \* \*

Вообще отец хотел, чтобы я стал спортсменом. Я ходил немного на айкидо, потом в бассейн. Но из спортивной группы пришлось уйти: стало трудно дышать. Врач сказал, это ещё не астма, но «группа риска», и серьёзным спортом мне заниматься не стоит. Можно так, для здоровья, не на результат. А для здоровья я почему-то перестал в бассейн ходить. Я там всегда мёрзну.

Тогда меня пытались отдать на флейту, для лёгких полезно. Но я не смог, совсем: звук очень высокий, я не резонирую с флейтой. Она холодная, я не смог её согреть, как, например, Валя может.

А я сам по себе горячий; но внутри. Снаружи кажется даже, что я флегматик. Но внутри я совсем не такой. Я как виолончель.

Так что со спортом и флейтой не вышло. Хотя таскать эту виолончель тоже спорт; попробуйте сами!

Раньше я ещё играл в футбол, но отец говорит: футболистом не будешь, это видно, хватит тратить время на ерунду.

Ходить надо! Я же говорю, надо просто быстро ходить, это тоже спорт! Как бы убедить в этом отца. Что это не потеря времени, ходьба. Я готов ходить сколько угодно, мне в это время лучше думается.

Хотя чего там думается. Это я раньше считал, что у меня оригинальные мысли.

Иногда они даже складывались в стихи.

Потом я узнал, какие бывают настоящие стихи. И всё своё сжёг.

Реально сжёг, в парке. Так красиво горело, и потом остался пепел: внутри чёрный, по краям седой. Как роза. Я взял её, эту пепельную розу – она рассыпалась у меня в руках, и остались обгоревшие серединки страниц. В кино бумага так красиво горит. А у меня превратилась в вонючую гадость.

Выкинул в урну, к окуркам. Нечего природу загрязнять своим так называемым творчеством.

\* \* \*

А читать стихи меня научила Лида, папина сестра. То есть она моя родная тётя, но я всегда её звал просто по имени. Лида дружит с мамой, они вместе учились.

Когда я был маленьким, Лида часто приходила, сидела со мной. Мама, конечно, тоже читала мне стихи, но детские. А Лида – Блока, например. Или Мандельштама.

«Не забивай ребёнку голову», – говорил отец; он покупал мне энциклопедии и развивающие игры. Но потом понял, что я тупой. Сколько ни занимайся – учёного из меня не выйдет. – Ты хочешь быть как Лида? – спрашивал он меня.

Будто «быть как Лида» – это какое-то ужасное несчастье.

Отец стихов не признаёт. И маме остаётся любить их тайной любовью: поэты сосланы на верхнюю полку, откуда их трудно достать. Я и не достаю: просто набираю фамилии с корешков в интернете. Чтобы отец не видел.

То есть он на самом деле, конечно, Лиду любит. Они рано остались без родителей, он старший, он за неё отвечает. И воспитывает её. То есть ругает, отчитывает – за бестолковость, отсутствие практического ума, за витание в облаках. Случись что – поможет, но сперва наорёт. Но поможет.

Я раньше любил к Лиде ходить, в этот её бардак. Там как-то свободно, не то что у нас. Правда, у неё кошки. Много.

Вот это папу и злит, он считает, надо не с кошками жить, а «завести нормальную семью». А Лида смеётся: может, дашь инструкции? Как её заводить? Сама ведь не заводится, не тараканы!

Вот из-за тараканов я перестал к ней ходить. То есть раньше мне было всё равно, а теперь я тоже терпеть этого не могу. И запах кошачий, невозможно же! Лида разгребёт место на столе, поставит тебе банку сгущёнки: ешь! Раньше для меня ничего и не было вкуснее. А сейчас, видно, папа меня всё же воспитал. Не могу бардак этот, противно.

Но я очень люблю, когда Лида приходит к нам. И залезает с ногами на диван: я варю ей кофе в турке, как меня мама научила, и тащу печенье. И мы разговариваем.

А когда не о чем говорить, Лида просто читает мне стихи.

Потом приходит папа.

– Фууу, развели бардак, и ребёнка приучаешь!

Лида иногда огрызается. Ну, не злобно, а так – иронично.

Если он уж слишком сердится на неё, Лида отвечает: а жену-то тебе кто нашёл? А? То-то же!

Да, она и познакомила их с мамой. И у папы теперь «нормальная семья». Ну, и мы стараемся соответствовать. А иногда так хочется ненормальности!

Мама может с Лидой говорить всю ночь напролёт, но это если отец в отъезде. А при нём они молчат.

Мне иногда кажется, что без отца мама стала бы такой же, как Лида. Но она старается изо всех сил «быть нормальной». Вписывает себя в рамки. Правда, иногда просачивается, конечно. Лидино. Или мамино? В общем, они и правда очень похожи. Я даже думаю: папа нарочно выбрал себе жену, похожую на младшую сестру. Удобно воспитывать.

Мы с мамой тоже иногда варим кофе, забираемся с ногами на диван. И она что-то мне рассказывает. Правда, без стихов. Когда это было последний раз? Я даже забыл.

...И Лида давно у нас не была.

Мне кажется, она по-своему счастлива.

А отец разве счастлив? Вот, он хотел сына – образцового, спортсмена, математика, самого лучшего во всём. А ему достался я. Не повезло.

Я даже как-то думал, что я Лидин сын, а не его. Что он меня у неё забрал. Потому что она не умеет заботиться о детях.

Но это ерунда; я, конечно, мамин. Мы похожи.

\* \* \*

– Мам, где мои носки? – спрашиваю я. Ну правда, куда они исчезают?

– Ох, – ворчит она, – ничего найти не можешь! Я же тебя не спрашиваю, где мои вещи! И как ты один в Питер поедешь?

– Куда?

– В Питер. Подожди, мы же тебе говорили?

Нормальные люди, нет?! Оказалось, мы с классом едем в Петербург! А я и не знал. Родители уже всё решили, деньги сдали...

– Мы думали, ты знаешь... у вас что, в классе об этом не говорят?

Может, и говорят. Только не со мной.

А носки, между прочим, мама сама в стирку и положила. А чистых не оказалось. Пришлось надеть белые, дурацкие. Кому пришлось в голову их купить?

\* \* \*

Я тут же написал Т.: «Ты едешь в Питер?»

«Да».

Лаконично. Но мне вполне достаточно.

\* \* \*

Интересно, а Моцарт едет? Отпустят его? Раньше его не брали с нами в поездки. Он же псих, мало ли чего от него ждать!

Я раньше на него злился за то, что он позволяет себе быть психом. А я, может, тоже такой! Но мне нельзя. Какой-то внутренний блок стоит: я переживаю, что обо мне подумают. Так что всегда держу себя в руках, даже если хочется всё разнести. А Моцарту, похоже, совершенно наплевать на чужое мнение.

Потом я понял, что это у него вроде компенсации. Ну, за талант. У него ведь и правда голова по-другому устроена. На математике всегда находит решение, молниеносно. И чаще всего нестандартное. Как будто все вещи видит по-другому, не так, как мы. Т. объясняет мне, что у него повышенная чувствительность. Для него телефонный звонок – как полицейская сирена, яркий свет – будто прожектор в глаза, как в полицейских фильмах. Поэтому ему разрешают в школе ходить в капюшоне, даже иногда в тёмных очках. Я, кстати, тоже стал иногда натягивать капюшон – не в школе, конечно. Чтобы не думали, что я его копирую.

Конечно, он псих; ему очень трудно жить, но он умный, гораздо умнее и меня, и Никифорова, и всех в классе. Я к этому привык. Ну, пускай себе умный.

Но музыка! Вот зачем ещё музыка?! Я думал, музыка – это только моё! Только я так умею: сидеть в тёмной квартире, закрыть глаза и тянуть смычком струны: каждый миллиметр смычка звучит, струна дрожит, будто это твои собственные связки, твой голос! И ты перестаешь пальцы и чуть-чуть качаешь рукой: вибрато не должно быть сильным, назойливым. Так, только чтобы звук окрасился. А потом другой, и третий... И если выходит красивый мотив – можно его повторить, и развить, и добавить другую струну, иногда аккорды. У меня всегда было хорошо с теорией музыки, мне не нужно думать, чтобы понять: где тоника, где доминанта.

И я знаю, как построить фразу, как смодулировать в другую тональность, как сделать секвенцию... Простой приём: сдвинуть тот же мотив на тон выше, и потом ещё, и ещё: повторяешь и повторяешь, это только слово такое сложное – «секвенция», и звучит хорошо (простые приёмы часто самые эффектные). Кстати, когда я понял, как это делается, то даже расстроился, будто мне фокус разъяснили: волшебство исчезло. Ну, потом вернулось, конечно. Не одна ведь математика, что-то ещё тут есть.

Алгеброй поверить гармонию. Но именно поверить – музыка же не математика! Алгебра не главное; а сначала чистый звук! А потом уже можно сверять, подставлять математические формулы – и убедиться: всё сходится. И потом – что плохого в теории музыки? Ведь зачем-то придумали её! Тут всё вместе работает: и чувство, и разум; и эмоции, и логика. Неужели настоящий Моцарт не знал теории? Знал!

Живёшь себе, думаешь, что ты талантливый человек. Ну, конечно, не такой великий – но всё же особенный, у тебя в голове стихи и музыка; это ведь не у всех!

А потом появляется Моцарт. И всё летит к чёрту.

...Я читал, что в фильме про Гарри Поттера парень, который играет Драко Малфоя, хотел играть Гарри. Интересно, каково ему было – хотел быть героем, а оказался плохим парнем.

Так и я.

Тяжело понять, что ты Сальери. Особенно если сам метил в Моцарты.

\* \* \*

Сальери не убивал Моцарта. Он был неплохой композитор, его музыку и сейчас играют. А про убийство – это легенда, и все верят. Так что сам Сальери несчастный человек.

Моцарт бы всё равно умер рано или поздно. А на Сальери повесили убийство. И ему с этим жить. То есть не жить, конечно, но всё равно: тащить на себе вот эту огромную несправедливость. И никому ничего не докажешь!

Я слушаю музыку Сальери. Вот уверен: если человеку дать послушать Сальери и Моцарта, отличит только профессиональный музыкант.

Бедный, бедный Сальери. Как я его понимаю.

Можно сказать, это Моцарт убил Сальери. Не специально, конечно; он тоже не виноват. Убийство по неосторожности. Но не физическое, а хуже. Если бы не Моцарт, музыку Сальери спокойно играли бы, не так часто, конечно, как Моцарта. Но тоже любили бы, и никто бы не говорил, что он плохой композитор.

\* \* \*

– Ты всё время думаешь назад, – говорит мне Т.

– Как это?

– Ну, думаешь: что было бы, если... А если бы тогда было не так, а так... Понимаешь?

– С чего ты взяла?

С одной стороны, обидно, что Т. опять меня воспитывает. С другой – мы наконец идём из школы вместе. Давно этого не было, хотя живём в одном подъезде и даже на одном этаже.

Просто с некоторых пор Т. стала провожать Моцарта. Да, правда! Не он её, а она! Потому что если она с ним не пойдёт – он скажет: «Ну всё, пока». Да нет, он и этого не скажет! Потому что ему ни до кого нет дела, ему важно только то, что внутри его головы. А Т. приклеилась, как собачка. Обидно за неё.

Кстати, да: я думаю назад. Вместо того чтобы радоваться: сейчас мы идём с Т.! – я злюсь, что раньше она ходила провожать его. Да и завтра пойдёт; просто сегодня Моцарта нет в школе,

он иногда пропускает, и ему ничего не говорят. Вот и досталось мне тоже немного. С барского стола.

А что будет в Питере? Они вот будут ходить вдвоём, как привязанные. А я смотреть, да?

Иногда мне хочется сказать Т.: всё, хватит! У тебя есть Моцарт – зачем тебе ещё я? Я переживу, я справлюсь, нечего меня жалеть! Но эти слова застревают в горле. И когда Т. говорит: пошли? – я просто киваю, и всё.

\* \* \*

Мне было лет пять. Я вывихнул палец и сидел в очереди к врачу; сначала было не страшно и даже любопытно. Но потом мама сказала: «Не бойся». И я понял: врач будет что-то такое делать с моим несчастным пальцем... Я, конечно, старался «быть мужчиной», как говорит отец. Реветь ужасно стыдно, это я всегда знал. До сих пор я ничего не могу с этим сделать: боюсь расплакаться, и от этого слёзы наполняют глаза, приходится смотреть вверх, чтобы не капали. Теперь уже не от страха, а от музыки или стихов. Но всё равно стыдно.

В общем, вот так я сидел, «брал себя в руки» изо всех сил, а мама говорила прекрасное: «Доктор дёрнет, и сразу всё пройдёт». Дёрнет! И ещё: «Смотри, девочка не боится!»

...Девочка и правда не боялась. Она посмотрела на меня и вдруг достала игрушечного динозавра. Резинового.

– Трицератопс, – сказал я и достал своего динозавра тоже.

– Паразауролоф, – сказала она.

...Я потом мечтал, что мы вырастем и встретимся. Целых две недели думал об этом.

И тут в соседнюю квартиру въехали новые жильцы. И я увидел её в лифте на куче коробок.

– Трицератопс!

– А, это ты, Паразауролоф!

...Мы потом долго так играли: я её звал Трицера, а она меня – полностью, Паразауролоф. У неё здорово получалось это «р», два раза. У паразавролофа огромный рог на голове, и я вычитал, что он, наверное, в этот рог трубил. Я решил, что он музыкант, как и я.

Я часто сидел у них дома, мы играли в наших динозавров. А потом пошли в школу, в один класс, и стали уроки делать вместе. Соседняя дверь – можно даже ботинки не надевать, просто перепрыгнуть.

С того самого времени никто не понимал меня лучше, чем Т. Никто.

Мне казалось, так будет всегда. Не в том смысле, что мы с Т. поженимся, у нас будут дети и прочая дребедень. Просто если ты в любой момент можешь написать человеку и он тебя поймёт – это важно. И так и было. Пока не появился Моцарт.

Конечно, Моцарт умный, интересный, талантливый. Не то что я. Неужели она его понимает так же, как меня?!

\* \* \*

Я у Герды; играю плохо. Вроде бы ставлю палыцы на правильные места, играю точный ритм. Но звуки не соединяются, рвутся.

– Что ты делаешь? – спрашивает меня Герда.

– Не получается, – говорю я. Что тут ответишь?

– Я слышу, что не получается. Я спрашиваю, что ты делаешь, чтобы получалось?

Яжимаю плечами. Не скажешь же «я стараюсь»: это глупо.

– Звук рвётся, – говорю я. – Стараюсь соединять смычки, а рвётся всё равно.

– Точно. Только не звук рвётся, а мысль. Ты играешь, как автоответчик. Все слова правильные, а мысли нет. Потому что в голове не соединяется. Тебе эта пьеса не нравится?

Я опять мнусь. Она терпеть этого не может; лучше сразу ответить – нет, не нравится. «Кто ясно мыслит – ясно излагает», – и от меня она требует в первую очередь внятных мыслей. А правда, почему мне не нравится эта пьеса?

– Это ведь современный автор? – спрашиваю я.

– Да.

– Тогда зачем он так пишет? Зачем писать музыку, как в старину. Если уже были Гайдн, Моцарт – зачем повторять? Это как-то искусственно. Будто он притворяется.

– Это называется «стилизация», – говорит Герда.

– Вот-вот! А зачем стилизация? Зачем играть в другого? Значит, своего ничего нет?

– Интересная тема, – говорит Герда. – Пойдём в двадцать пятый, поговорим. Кофе хочется, сил нет.

Двадцать пятый – это у нас большой класс, вместо буфета. Тут есть чайник и кофеварка, можно выпить чаю, съесть свои бутерброды или печенье. Для самых голодных стоит жестяная банка с печеньем «Зоопарк» и тарелка со слипшимися лимонными карамельками.

Раньше Герда всегда уходила курить, а теперь бросила и вместо этого пьёт кофе, как сумасшедшая. Я себе делаю чай, у меня тут есть любимая чашка, самая обычная, в синий горох.

– Ты думаешь, искусство всё время должно идти вперёд, не оглядываясь? – спрашивает меня Герда.

– Нет, почему не оглядываясь. Просто как можно делать вид, что не было ни Рахманинова, ни Дебюсси. Ни Шостаковича. И писать – вот так?!

– Искусство часто развивается по спирали, – говорит Герда. – Сначала да: кто-то пробирует стену. Иногда лбом. Нарушает канон, и другие говорят: это хулиганство! И часто в самом деле ничего хорошего нет: ломать систему только для того, чтобы сломать, – бессмысленно. Но кто-то ломает, а кто-то отодвигает границы. И мир становится шире, шире...

– Так и я об этом говорю! О расширении границ! Зачем загонять себя обратно, делать вид, что мир узкий, если он открыт?!

– Границы тоже важны. Вот мы приходим к тому, что всё можно: любые сочетания звуков, цветов или слов имеют право на существование. И постепенно этот мир без границ превращается в хаос.

– Неправда, – говорю я. – По-вашему, Шостакович – это хаос?

– Нет, конечно, – Герда улыбается краем рта, но я вижу. Она любит, когда с ней спорят. – Шостакович очень организован. Изнутри. Двадцатый век не зачёркивает все предыдущие, правда? Шостакович не отменяет Шуберта. И когда сломана тональность, разрешены любые созвучия и обнажаются самые резкие эмоции – человеку хочется вернуться назад, в гармоничный мир. Но он не копирует старинную музыку, а повторяет её на другом уровне. На новом витке спирали. Понимаешь? Как художники в эпоху Возрождения возвращались к античным образцам. Но по-новому.

– То есть искусство движется по спирали?

– Не только искусство... Вообще история человечества.

Я уже слышал об этих спиралях, но сейчас вдруг представил, очень отчётливо.

Возможно, и я повторяю кого-то. На другом уровне. Чтобы потом кто-то повторил меня. Повторил, но лучше? Или нет?

...Герда проливает свой кофе. Руки у неё стали дрожать. Я достаю салфетку из ящика, но она не берёт её – рисует на столе спираль из кофейной лужицы.

– Значит, мир ускоряется и спираль всё сворачивается, – говорю я. – А что там, в точке? Куда мы стремимся?

– Интересно, – говорит Герда. – Ты сегодня интереснее говоришь, чем играешь. Точка? Точки никакой нет, она всё отодвигается, как нечто недостижимое. Наверное, это какой-то абсолют. Бог.

– Бог? – вот не ожидал от неё! Я всегда думал, что она неверующая!

– Не так важно, как назвать. Это вопрос определения. Абсолютный идеал, точка света...

– Или тьмы, – вдруг говорю я. – Может, там совершенная темнота, в этой точке. И мы все взорвёмся.

– Может, – говорит Герда. – Это зависит, в общем-то, и от нас тоже.

\* \* \*

Я иду домой. Моросит какой-то даже не дождь, а водяная пыль. Но я иду и думаю, это одно из любимых моих состояний: ходить и думать. Думаю о том, что сказала Герда... Вернее, нет. Я иду и думаю о том, как я думаю. Способен ли я вообще думать нормально? Или только могу повторять чужие мысли? Что такое вообще мыслительный процесс? И что такое – новое? Ведь нот всего семь; с диезами-бемолями – двенадцать. И часто у разных композиторов выходит похоже, несколько нот совпадает. Например, у Моцарта есть эпизод из одной советской песни. Вернее, наоборот. Это мне Герда показала. И объяснила: не потому, что один композитор у другого украл. Мысль ведь совсем разная. Просто совпадение.

Меня немного знобит. То ли заболеваю, то ли... Раньше у меня так стихи начинались: вот так потряхивает слегка, а потом раз – и пошли слова. И я тогда не думал: хорошо, плохо, – просто повторял эти слова, мне нравилось, как они складываются, меняются местами, как будто это не я, а само.

А потом стало не так. Только всплывёт какая-нибудь рифма, только подумаешь:

Вот я иду и думаю, и думаю, иду,  
Иду по колотому дворниками льду... —

и сразу начинается: зачем нужно «вот»? «Иду по льду» – вообще недоразумение, рифма как для попсы; а идти и думать может каждый дурак, и при чём тут дворники, «по колотому дворниками» – совсем ужасно, ни в какие ворота, ниже плинтуса, иду – в бреду, какаду, пинать балду, yes, I do...

И за каждым словом выстраивается список: почему его не надо. И лучше вообще ничего не надо, нечего и начинать.

Сейчас и этого нет, пусто. Мычу, как глухонемой, и ни одного слова. Ну как же: лёд, дом, деревья... и что с этим со всем, а? Как их склеивать, эти слова? И главное – зачем.

Вокруг меня полно людей. Никто не пишет стихов, и никто не переживает по этому поводу. Потому что нечего себя поэтом воображать.

...Когда я был маленьким, мы ездили с родителями на дачу к их друзьям. И там мне дали морковку. Я стоял на пеньке, грыз эту морковку и вдруг сказал:

– Как хорошо стоять на пне!  
И грызть морковку при луне!

...Как все тогда смеялись и хвалили меня: и мама, и папа; а самое удивительное – ведь это было днём, и тут из-за облака показалась бледная луна. Меня так это поразило! Я же не знал, а угадал!

...Какой же я был дурак, проглотил эту наживку. Сейчас бы жил нормально и не мучился.



\* \* \*

Пришёл домой – а отца нет. Как хорошо, не заметит, что я позже пришёл. Я скорее снимаю ботинки и прямо в куртке бегу в ванную, греть руки. Люблю так: руки в воду и смотреть, как вода утекает.

А потом лихорадочно бросаюсь всё делать. Успеть до его прихода! Чтобы еда съедена, посуда чистая, вещи на месте, и я такой образцовый сын – делаю уроки.

Хотя, казалось бы, чего тут такого? Если он придёт, а я ещё мою посуду, например. Но я почему-то всегда виноват. Только уроки спасают.

Я успел. Открыл учебник, но решил сначала написать Т., раз время есть.

«У меня атрофировалась та часть мозга, которая отвечает за слова. Может, это такая болезнь? Ничего не могу! Ни одной строчки!»

...Ключ щёлкает в замке. Отец пришёл. Я изображаю очень занятого человека, киваю через плечо – привет.

– Машину стукнул, – говорит отец.

– Что?

– Да ничего страшного; я не был виноват, и страховка есть. Грузовик занесло. Могло бы быть в сто раз хуже; а тут совсем ерунда, повезло. Времени жалко: два часа простояли, и ещё со страховой возиться...

Чёрт. А я думал, он просто на работе задержался.

Вдруг дрожат руки.

Я же хотел, чтобы он пришёл как можно позже. Радовался, что его нет. Мне в голову не пришло, что может что-то случиться! А если бы не просто стукнул машину?!

...И потом, он сразу: «Я не виноват». И дело не в страховке; ему просто важно не быть виноватым. Как и мне.

– Я тебе сейчас суп разогрею, ты же не ел? – говорю я и уже бегу на кухню.

– Да ладно, – он садится возле стола. – Устал что-то. Ведь ерунда случилась, а как представишь... Метром ближе, долей секунды раньше...

– Да, я знаю, – говорю я вдруг. – Меня недавно чуть машина не сбила... я тоже всё думал потом, думал, что было бы, если...

Он даже вскочил:

– Где?! Что же ты молчал?

– На переходе, вечером.

Вот я идиот! Зачем я ему это рассказываю?!

Он встаёт, хлопает себя по карманам. Давно уже не курит, бросил, ещё когда я только родился. А привычка искать сигареты осталась.

– Как же ты... Смотри, осторожнее, – говорит он. – И лучше через подземный переход, я же тебе говорил... Столько психов кругом! И если в темноте переходишь – телефоном свети, тебя же не видно, я сам как-то чуть не сбил такого – выскочил под колёса. Не игрушки же!

Суп у него опять остыл, а он всё ходит вокруг тарелки. Потом всё же сел, вытянул ноги.

– Надо же, как устал. Наверное, от волнения просто. Ноги не держат. Надо, что ли, больше ходить. Ты, кстати, шагомер собирался купить, присмотрел уже?

И тут в телефоне ответ от Т. Быстро как.

«Ты мне написал целых 20 слов. Ничего у тебя не атрофировалось! Просто алгебру делать не хочешь. А хочешь страдать!»

...А я и забыл. Точно она дала мне в лоб, по месту: я и правда хотел пострадать. Надо же, если бы отец сказал: «Хватит ерундой заниматься, иди делай алгебру», – это обидно. А если Т. – совсем другое дело.

Но отец вдруг говорит совсем другое:

– Слушай, бросай свою алгебру. Ложись лучше пораньше – не высыпaeшьcя совсем, вот и внимания нет.

\* \* \*

Наткнулся на Эппла, учителя математики, возле метро. Поздоровался, а он не ответил. Не заметил меня даже, думает о своём. Ну да, я ему неинтересен.

Моцарта небось заметил бы.

Обидно: Эппл мне нравится. Сначала я его боялся: у него голова бритая наголо, как яблоко. И вмятина сбоку. Не знаю, как можно жить с такой ямой в черепе. И зачем он её показывает, чего волосы не отрастит? Откушенное яблоко, вот и прозвище – Эппл. Я думал – уголовника какого-то в школу прислали. Оказалось – интересный человек. Жаль только, что я ничего не понимаю в его предмете.

Вечером в электронный дневник пришли оценки за самостоятельную. С письмом от Эппла: «Извините, плохо вас подготовил. Слабо написали, будем переписывать».

Тройки в основном. У меня – «два». У Т. – четвёрка. И всего одна пятёрка в классе. Догадайтесь, у кого.

\* \* \*

Думал, хоть на виолончели умею, шёл к Герде отыгратъся за алгебру. А ей было не до меня, и урок вышел бестолковый. Кажется, у неё болела голова. Я прямо чувствовал: она ждёт, чтобы я ушёл. Ну, я и ушёл.

Но домой не хотелось. Лучше здесь, в музыкалке: не могу я, что ли, просто в школе побыть? Я поднялся на последний этаж: там, возле входа в концертный зал, есть такая огромная кадка с лимоном. Говорят, одна учительница вырастила этот лимон из зёрнышка. И за этой кадкой как раз есть место. Моё.

В общем, я пошёл туда; а там Валя. Та девочка-композитор с некрасивым лицом. Пишет. На нотной бумаге. Пишет музыку?! Прямо сейчас!!! Разве так можно, без инструмента...

– Ой. Я сейчас уйду, – испугалась она.

Вот же, спугнул человека!

– Ты что, ты пиши! Я не знал, что ты здесь.

– Да я не пишу ничего... Я так.

Надо же так ужасно стесняться! Лицо красными пятнами...

– Валя, – сказал я.

– Откуда ты знаешь, что я Валя?

– Тебя все знают.

Как она не знает, что её все знают! Когда на концертах играет, что, не видит никого?

– Слушай, – спросил я, – ты прямо вот так музыку пишешь? Из головы, без инструмента?

– А зачем инструмент? – удивилась Валя. – Я и так слышу...

– Ничего себе... А у тебя всегда это было? Ну, музыка в голове?

– Всегда, – ответила она. – Раньше – всегда. А теперь кончилось.

– Как это? Как – кончилось?... Ты же пишешь сейчас?

– Нет. Я пробую, пробую... но всё не то.

Она сидела на подоконнике, а мне вдруг ужасно захотелось с ней поговорить. Я сел рядом, на стул.

– Он сломанный, – сказала она.

– Знаю, – конечно, знаю, я сам его и сломал. Злой тогда был. Но если его приставить к стене – нормально можно сидеть, если не дёргаться.

– Ты же занимаешься. У тебя композиция есть, гармония-полифония, или что там? Ведь этому учат? Сочинению?

– Ну да. Понимаешь, это... ну. Как инструменты. Тебе дают карандаши, краски, кисточки. Карандаш, акварель. Акрил. Но если ты не знаешь, что рисовать, то ничего не поможет.

Я молчу, ковыряю краску на подоконнике. Сказать или не сказать? Хотя кому, если не ей. Т. всё равно меня слушает только из вежливости.

– Знаешь, Валя, я ведь тоже пишу. Музыку. Ну, пробую.

Она не удивилась. И правда, чего такого? Ну, пишет человек музыку.

– Иногда кажется – как здорово у меня получилось, как красиво. А потом – бац, и понимаешь: очень похоже, например, на Рахманинова. Только у него лучше.

Она улыбнулась половиной рта. Первый раз вижу, как она улыбается. Наверное, стесняется своей улыбки, неправильного прикуса.

– Нет ведь ничего удивительного, если человек рисует, да? – говорит Валя. – Или пишет сочинение. Это обычно; это и в школе задают. А вот музыка – необычно. Просто если бы этому учили в школе, все бы писали. Ничего такого.

– И что бы мы делали с этой тучей музыки? – спрашиваю я.

Мне вдруг становится страшно: если все будут писать, в чём тогда будет моя необычность?

– А что все делают с этой тучей рисунков? – пожимает плечами Валя. – Они ещё и место занимают.

Она молчит. Потом начинает накручивать уголок листа на карандаш. Прямо как Моцарт, он тоже так делает. Видно, хочет что-то рассказать, но стесняется. Наконец решается:

– Я однажды была в гостях. И там на всех стенах рисунки, совсем детские: ваза с тремя цветками, рыбы в речке, домик. Радуга. Видно, что родители так гордятся своим ребёнком. А ребёнку лет десять. Уже не малыш! Понимаешь? То есть я тогда подумала: надо же, так радуются, считают, что он художник!

...Да. И у Т. на кухне её детские рисунки висят, с динозаврами. А моим родителям в голову такое не придёт.

– Может, они вспоминают, как он был маленьким? – я пытаюсь оправдать знакомых Вали, родителей десятилетнего художника.

– Нет, – говорит Валя. – Оказалось, он больной. Не говорит. Совсем. И рисовать начал только в этом году. А раньше не хотел. И они этому радуются, понимаешь! Тому, что он делает обычное, как все дети. Понимаешь? Вот нам хочется необычного, прыгать выше головы. А эти родители хотят, чтобы их ребёнок пошёл в обычную школу, пусть и позже на три года. И радуются этим трём тюльпанам, нарисованным в шаблонной вазе. Понимаешь?

Да. Я понимаю. И опять думаю про Моцарта. Про его семью. Хотят они, чтобы он был нормальным? Обычным. С футболом, лазаньем по заборам, с двойками по алгебре. И никаких истерик, странных разговоров и стучания ручкой по зубам.

– Мы теряем радость, – вдруг говорит Валя. – От обычной жизни. Если попробуешь необычного – это как наркотик. Хочется ещё и ещё. Ты отравлен.

...Это всё должен был говорить я! Вот не ожидал от Вали. Вообще не ожидал, что она умеет разговаривать!

– А ты хотела бы быть обычной? – спрашиваю я.

– Я обычная, – вдруг говорит Валя. – Самая обыкновенная. Просто люди редко пишут музыку. А так, если бы все писали – моя музыка ничем не лучше трёх цветков в вазе. Так все могут. А до чего-то необыкновенного мне лететь и лететь.

...Мне хочется сказать ей, что это неправда! Что она совершенно необыкновенная. Что её музыка красивая, звук её флейты проникает мне внутрь и остаётся там надолго. Что она ещё, оказывается, здорово умеет говорить, и с ней интересно. Что... что она становится красивой, когда играет. Но это, пожалуй, лишнее. Это означает, что без музыки она страшная, как крокодил.

– Мне пора домой, – вдруг говорит она.

И я будто прыгаю в ледяную воду:

– Можно я тебя провожу?

Она опять вся пошла пятнами.

– Нет. Меня бабушка забирает.

– А может, в следующий раз? Давай скажем бабушке, что я тебя провожу. Чтобы она не беспокоилась.

Валя вдруг улыбается и качает головой:

– Ты что! Моя бабушка считает, что мальчики – мировое зло. Так что даже не думай показываться ей на глаза.

– Весёлая у тебя жизнь, – говорю я.

– А у тебя? – вдруг спрашивает она. – Весёлая, нет?

В общем, она ушла. А я думаю: да, весёлая жизнь. Оказывается, вот так поговорить с человеком – радость. Сто лет так ни с кем не говорил; с тех пор, как Т. сидит с Моцартом.

А вот, между прочим! В следующий раз я так и скажу Т.: я с тобой не пойду. Меня девушка ждёт. Валя. Ха! Вот что она тогда подумает!

Валентина. А что, – красивое имя, музыкальное. Почему я раньше думал, что оно дурацкое?

\* \* \*

Я как будто живу внутри своей головы. Всё делаю на автомате, все утренние сборы, потом школа. Я, оказывается, говорю с Валею. Про свою музыку, а потом про Моцарта. Ну, не с настоящей, а с Валею внутри своей головы. Раньше только с Т. такое было.

Ну и сколько можно! Хватит уже страдать, хватит! Надо отпустить. Пусть себе Т. говорит с Моцартом. У меня теперь Валя есть!

Я, конечно, нахал. Никакой Вали у меня нет; просто сам факт, что я могу целый час не думать ни про Т., ни про Моцарта – уже радость.

Правильно мне Т. говорила: «Хватит страдать, делай уже что-нибудь!»

С первого класса она мне это говорит. Я и правда любил понюхать, сколько нам задано и какой я тупой, пока Т. меня не приводила в чувство. Это у неё удивительное качество. Когда мне отец делает замечание, я злюсь; и на учителей в школе тоже. А на Т. – нет. Она очень часто говорит мне неприятные вещи, и я не злюсь, а реально включаюсь. Ну и потом, если человек тебе говорит: «ты очень много о себе думаешь», «ты просто лентяй» и «хватит страдать»; а потом – «у тебя хорошие стихи», то... этому человеку веришь.

Я решил попробовать, как Валя. Писать музыку не от рук, а головой. Без инструмента. Доделал самостоятельную по русскому и ушёл из класса: нас отпускают, если раньше сделаешь.

Сел на подоконник, достал нотную тетрадь и стал писать. Какое солнце! Кажется, скоро совсем весна. Да, и мелодия появилась в голове! И я стал думать, как её гармонизовать. То есть какие аккорды подойдут. Неужели я не смогу элементарную партию фортепиано придумать?

Пусть несложную, надо же с чего-то начинать! Сначала подписал буквы: тоника, доминанта. Шестая ступень.

...А потом я увидел их в окне. Его видно издалека: как он руку одну подгибает куриной лапкой, как он смешно ходит зигзагами. И как Т. ему в глаза заглядывает. Он вещает, а она слушает. Тоже, значит, раньше с русского ушли и вышли на школьный двор. Солнце, совсем тепло. Вот и Моцарт без куртки и без шапки. Ушки свои заморозит драгоценные.

Тьфу.

Не нужна мне никакая Валя. Чего она, в самом деле, не исправит свои зубы? И брови! Ведь это нетрудно. И спина у неё кривая. И вообще, я всё это время думал не про Валу, а про то, как я перестал думать о Т.

Это как не думать о белом медведе.

Вот я идиот. Ещё думал, музыку пишу. А сам рисую три тюльпана в вазе и горжусь. Как ребёнок из детского сада гордо несёт свой альбом раскрытым, чтобы краски не смазались (и чтобы все видели). Вот такой я композитор.

\* \* \*

У мамы вдруг вечер свободный – это редко бывает, в последнее время она чуть не ночью приходит. А тут – ура, и главное, она не уткнулась в компьютер, а потащила меня кататься на роликах. В общем, уже тепло, снег растаял – многие на роликах. Мы с мамой, кажется, в прошлом году совсем не катались, всё не до того было. И так хорошо! И можно ничего не говорить, просто едешь рядом, и всё.

...И тут на меня чуть не налетел Моцарт! В миллиметре от моего носа махнул рукой и помчался дальше. Я не уверен, что он вообще меня заметил.

– Это из вашего класса мальчик? – спросила мама. – Тот, который...

Я думал, она скажет: странный. Не совсем нормальный. Проблемный... или как его назвать, мама же не скажет – псих?

– ...который все олимпиады выигрывает?

Тьфу. Мама-то откуда это знает?!

Мы ехали по дорожке, Моцарт промчался и исчез. Людей мало, потому что понедельник. И тут прямо перед моим лицом – белое облако, тьфу! Липкое! Я налетел на сладкую вату у кого-то в руках. Какая гадость! И вкусная.

– Да! – ответил я. – Олимпиады! Все!

Почему, как только Моцарт возникает в моей жизни, сразу неприятности?

Мама охнула и тут же начала хохотать. И девушка, в чью вату я впечатался, тоже.

– Можно я тебя на телефон сниму?

Ну почему это так смешно, если мордой в торт? Или в вату?

...Мама показала мне фотографию, и я понял, почему это смешно. И мы смеялись втроём, вместе с этой взрослой девушкой; мне неловко было поднимать на неё глаза, и я смотрел только на юбку: такая юбка у неё красивая, жёлтая. Особенный какой-то цвет.

А потом купили и мне сладкую вату – с пяти лет ни разу не ел.

Скорее смешно, чем вкусно.

\* \* \*

Я иду на специальность, опаздываю. И тут позвонила Лида. Так странно, я не хотел отвечать; но вдруг что случилось?

...Да, случилось.

– Глебу не могу дозвониться... Байрона убили.

Я первые секунды не мог сообразить, кто такой Байрон. Слово знакомое: певец, актёр? Или знакомый кто-то? «Нет, я не Байрон, я другой». Вспомнил. Лида чего там, совсем с ума сошла?!

Тьфу, это же Лидин кот. Чёрный, хромой и с мерзким характером. Руку мне разодрал как-то, я играть не мог. Стоп, при чём тут рука: его убили?!.

– Я сейчас приеду! Слышишь? При-е-дуу! – ору я в телефон.

Лида рыдает.

Я на ходу отправляю смс отцу, что я у Лиды. Потом пишу Герде, что меня не будет. Без объяснения, она поймёт: раз меня нет, значит, что-то важное.

...Лида сидит на скамейке во дворе. Её трясёт. Я стягиваю с плеча виолончель, отдаю Лиде свою куртку; она сначала не попадает в рукава, а потом я удивляюсь, что они ей длинные.

– Он там, – шепчет Лида, – за скамейкой.

Я смотрю на Байрона и тут же отвожу глаза. Кажется, камнем его. Вот и кусок кирпича рядом валяется. Вот гады. Гады! Кто это сделал?!.

Не могу смотреть. Но и Лида не может; а у меня есть преимущество. У неё линзы, а у меня очки. Я их снимаю – некуда деть, цепляю за ремень. Чтобы не видеть. И подхожу к Байрону. Что делать, как?..

Мне жарко, даже взмок. Снимаю рубашку, остаюсь в футболке; в рубашку заворачиваю кота. Достанется мне за испорченную вещь, но ладно. Нет, очки всё-таки надо, а то земли не вижу, и руки заняты, и кот... кот?..

– Лида!

– Что, ну что, – шепчет она.

– Он живой! Он дышит! В ветеринарку надо, срочно!

Лида мечется: «Что же я раньше!..» – не может найти в своём телефоне ни ветеринарку, ни такси. Я даже злюсь на неё: ну как так можно, взрослый же человек! И я не могу достать свой телефон – кот же, руки заняты! Боюсь шевельнуться, выдыхаю и медленно, максимально чётко говорю ей:

– Лида! Открой контакты. Да. В строке поиска пиши: «ве-те-ри-нар», – я вдруг слышу себя со стороны. Как будто не я говорю, а мой отец, когда всех воспитывает. Вот же ужас.

– Нет, ничего нет, – бормочет Лида.

Ну как так, столько лет жить с кошками и не найти этого телефона! Наизусть должна знать!

Байрон дышит. Я стараюсь не двигаться – не сломать бы там что-то, внутри него!

– В интернете ищи. Открывай... Нет, просто такси вызывай. Такси! – телефон у неё в руках гаснет. Сел.

– Ой, – говорит она.

– Ай! – говорю я. – Осторожней!

Какой-то псих толкает меня в спину. Не специально: просто наткнулся. Смотрит в свой телефон, ничего не видит вокруг! Он поднимает глаза от экрана, разглядывает меня. Вспоминает, наверное, где мы раньше встречались.

– Здравствуйте, – говорю я ему.

– Что-то случилось? – спрашивает Эппл.

– Вызовите, пожалуйста, такси, – говорю я. – Нам к ветеринару нужно.

Он несколько секунд смотрит своими тёмными глазами на меня, на Лиду, на кота. Опять на Лиду. Как будто возвращается из другого мира.

– Да, конечно! Такси... сейчас... Кота машина сбила?

– Нет, не машина. Люди, – отвечает Лида.

– Да, сейчас. Сейчас! Ваш заказ... через две минуты. Две минуты!

Он говорит номер машины, и правда – через пару минут мы уже в такси.

Я сажусь с котом на переднем сиденье, боюсь Лиде его передавать, чтобы не беспокоить лишний раз.

– Мы вам деньги потом вернём, – говорю Эпплу.

– Какие деньги?

– За такси же!

Он молчит, хлопает глазами. Я забываю про него, у меня есть дела поважнее. У Байрона бьётся сердце, я чувствую. Рубашка стала какая-то липкая. Успеет, нет?..

\* \* \*

В ветеринарке нас пропускают без очереди. Укол, другой укол, капельница, и Байрон сердито дёргает хвостом. Выживет всем назло, сказал врач; я чуть не расплакался. Лида осталась сидеть с ним – с котом, не с врачом, – а мне сказала:

– А ты поезжай домой.

– Домой? Как же ты тут одна?..

– Я уже нормально, ты же видишь. Спасибо тебе! Всё бросил, приехал...

И в этот момент у меня вспыхнуло в голове. Всё бросил!

*Виолончель!!!*

...Я шёл на специальность, она у меня была. Потом кот. Потом... что, я оставил её там, во дворе?!

Пол поехал под ногами. Виолончель! Другую мне никогда не купят. Никогда.

...Обратно я бегу ногами, сам. Тут недалеко. Попутных машин нет, да у меня и денег нет, и хорошо. В машине я бы с ума сошёл! А тут – левой, правой. Дышать, дышать! Не думать! Сердце сейчас выскочит, вот я дохляк, бегать не умею совсем.

И только перед аркой во двор я отчётливо представил: виолончели там нет. Что я буду делать? Звонить в полицию?

Не сразу вижу его – белый футляр на белом фоне. Хватаю ртом воздух. На месте. Вот она! Вокруг неё ходит человек. Надо же так ходить – ни с кем его не перепутаешь!

– Это твоя? – спрашивает Эплл.

– Моя... вы... Вы не ушли?

– Сторожил, – улыбается он. – Подумал – твоя или твоей мамы.

Я смотрю на часы. Пятьдесят минут. Он ходит вокруг моей виолончели почти час!

– Моя. Как же вы... Столько времени тут! Холодно...

– Ничего, мне было чем заняться.

Это правда. Ему всегда есть чем заняться внутри своей головы.

– А как ваш кот? – спросил он. – Твоя мама с ним осталась?

– Это не мама была, а моя тётя.

– Тётя?.. Я и подумал – слишком молодая для мамы...

Я хотел ответить – вообще-то Лида с моей мамой ровесницы, но не стал. Зачем?.. Сказал только, что коту лучше. А самого вдруг скрутило, невыносимо закололо в боку, и я сел на скамейку.

– Ты чего?

– Нормально я. Бегаю плохо. Все в порядке, правда! Вы идите...

Он как-то потоптался ещё возле меня, а потом спросил:

– Ты здесь живёшь?

– Нет, это Лида здесь, тётя.  
– А, – повторил он. – Лида. Понятно.  
Кивнул сам себе и пошёл. И только тут я догадался крикнуть ему в спину:  
– Спасибо! Вы же меня спасли прямо. И кота. И виолончель!  
– Да не за что! Тёте привет. И коту!  
...Надо же, кто бы мог подумать. Эппл! Разговаривает как обычный человек! Шутит даже!

\* \* \*

Байрон уже дома; открывает глаз, и глаз этот совершенно нахальный. Сам как тряпочка, будто мягкая игрушка – вкалывают ему лекарство, он даже не вздрагивает. Но я по глазу вижу: точно выживет.

Я предложил переименовать его в Гнедича, или у кого там из поэтов был один глаз. Лида сначала обиделась ужасно, а потом смеялась.

...Я не тороплюсь домой.  
– Знаешь, я ведь думал, мне за рубашку влетит. А он наоборот, только удивился, что ядохлого кота на руки взял. Говорит – не смог бы так. Ну, я же не знал, что Байрон живой!  
Лида качает головой:  
– Всё бы он смог. Глеб так только говорит, а на самом деле всё всегда может. Если ради тебя или ради меня... ради своих, ну, ты понимаешь.  
Я мою ей всю посуду, вытираю стол. Вот, теперь можно и кофе пить. Кто-то же должен ей помогать, не только брат?  
– Знаешь, – вдруг рассказывает Лида, – мне было шестнадцать лет. И мой друг потащил меня на крышу. Я так боялась, что Глеб меня заметит! Что он снизу увидит, что будет ругать!  
– Заметил?  
– Нет. Это мы его заметили. Вышли на крышу, а он там. Лежит и пишет что-то в тетрадь.  
– Что?  
– Ну что! Стихи он писал раньше. Ну конечно! Чего ты на меня так смотришь, не знал?  
Ой. Только не говори ему, не говори – вдруг это тайна!  
– А... А почему тогда перестал? Почему он... такой?  
Лида пожимает плечами.  
– Захочет – как-нибудь сам расскажет тебе.  
...Мой отец и стихи. Кто бы мог подумать!  
Интересно, в Питере можно будет залезть на крышу? Я видел фотографии оттуда, с крыш. Конечно, нас никто не отпустит; но вдруг?  
Кстати, шагомер бы пригодился, наверное. А я так и не купил. Получается, вроде уже и не нужен...

\* \* \*

– Будешь играть на отчётном концерте, – вдруг говорит Герда.  
На отчётном!  
Там всегда играют самые лучшие. И почему я, я же не лучший! Я вообще не люблю выступать.  
– Это не дело, только самому с собой играть. Надо учиться, набирать опыт. И хватит уже изображать неудачника, тебе вполне есть что показать.



Перед отчётным нужно пройти прослушивание. Прямо сейчас. Оказалось, Герда специально мне не говорила, чтобы я не волновался раньше времени.

Мы идём в большой зал, поднимаемся по лестнице, я стараюсь не зацепить виолончельным шпилем ступеньки – редко приходится ходить с открытой виолончелью.

Проходим мимо лимонной кадки. И мне даже пока не страшно; просто я впереди своей головы иду. Уже в зале – а голова ещё в классе. Ещё не понял. А в зале народу! И Валя здесь. Ладно; вот Валя сыграет, я послушаю. И пока ни о чём не буду думать.

Первыми играют в четыре руки близнецы-пианистки, такие смешные маленькие девочки с одинаковыми косичками. Не то чтобы здорово играют, просто забавно, что такие одинаковые. И после них сразу – я!

Хотя не концерт же, не экзамен. Ничего страшного! Почему у меня ноги стали из сахарной ваты? Даже на сцену нормально не смог подняться, споткнулся, чуть виолончель не грохнул. Поклониться забыл. Сразу бросился к стулу, сел. Сажу.

Герда хотела, чтобы я своё играл. А я вдруг испугался и решил играть Прелюдию Баха, которую хорошо знаю. Невозможно здесь своё! При всех!

Нормально, кстати, начал, руки сами играют, будто это не я. Только бы не думать, не думать, не думать! Чёрт.

Слетел с текста. Поискал ещё рядом – мозг отказывает, не могу сообразить, в какой я тональности даже! Всё же как-то выплыл, руки играют – а головой никак не могу сообразить. И все видели мою беспомощность. Понятно; какой тут отчётный, ни на какой концерт я не пройду. Когда же она закончится? Длинная какая Прелюдия, как это мучительно!

Только к последнему такту я включился, стал соображать, что делаю. И вытянул последнюю ноту длинным, красивым звуком, ровным, не дрожащим. Откуда взялось? Всегда бы так!

Наверное, я просто расслабился, что уже всё.

Я встал и собрался уходить со сцены, молча, никто не хлопает: на прослушивании и не принято особенно хлопать.

– «Деревья» сыграй, – попросила вдруг Герда.

Не попросила, а... в общем, у меня не было шансов отказаться. «Деревья» – это моя пьеса, такое неудобное у неё название. Я часто смотрю на деревья под окном, они такие все разные; вот и придумал эту штуку. С какой же ноты она начинается?..

Стыдно смотреть Герде в глаза. Я специально отвожу глаза от того места, где она сидит. И натыкаюсь на Валию. И Валя спокойно так смотрит на меня. Из-под своих косматых бровей.

И я вдруг забыл и про прослушивание (всё равно уже завалил), и про всех людей в зале. Я буду играть только для Вали. Хотя после Баха играть своё... Да какая разница?

Конечно, начинается с самой нижней «до», как и Прелюдия! Как я мог забыть? В своей музыке мне намного легче; как в домашней одежде, легко и свободно. Я дохожу до верхних нот, где деревья тихо шелестят. И даже вставляю на ходу кусок, которого там раньше не было. Потом спускаюсь вниз – ой, как я здесь оказался? Заблудился в собственной пьесе, как в лесу! Но это меня почему-то не смущает; я спокойно играю дальше, будто так и надо.

Поднимается ветер, он превращается в бурю – тут уж вообще не до тональности! Деревья качает, гнёт и треплет, и вот огромный сук ломается, летит на землю...

Постепенно всё успокаивается. И я возвращаюсь к началу: дуб роняет жёлудь, и из него проклёвывается маленький красноватый росток.

Я снимаю смычок, последний звук ещё летит, а потом растворяется в воздухе. И мне хлопают. Хлопают! Значит, понравилось.

И я ужасно собой горжусь, целых пятнадцать минут. Пока не настанет Валина очередь.

\* \* \*

Валя волнуется, это видно. Вытирает руку о юбку. И не поднимает глаз. Как же она будет играть?!

Но как только она подносит флейту к губам – всё меняется. Будто человека переключили на другой режим.

Чудно: я не люблю этот инструмент, а у Вали слушал бы и слушал. Как будто не флейта издаёт эти звуки, а Валино горло; словно она сама птица и так поёт. Хотя у птиц, кажется, только самцы поют? Всё равно: я представляю себе большую пёструю птицу с хохолком, наверное, из Африки или Южной Америки.

Конечно, мои «Деревья» по сравнению с этим – праздник в детском саду.

Второе произведение Валя играет на рояле. Я слышу, как гармонии переходят одна в другую; как она берёт вторую низкую – неаполитанский секстаккорд; и как это необычно. А потом начинается fuga: повторение темы в разных голосах, и я вижу, какая стройная выходит у неё конструкция, крепкая и лёгкая. И тут я уже забываю про свою сегодняшнюю неудачу, просто слушаю, и всё.

\* \* \*

Герда остаётся на обсуждение, а я иду в двадцать пятый. Тут полно народу. Мне хочется подойти к Вале, но у неё какое-то чужое лицо. И я со своим чаем ухожу на подоконник.

С кофейным аппаратом воюет незнакомая старуха, похожая на бабу-ягу. У неё огромная бородавка на носу. Откуда такая? Не видел раньше. Сам я кофе не пью, но у меня же Герда есть – так что я кофейный специалист.

– Давайте я вам помогу!

– Спасибо, мальчик, – слышу я нежный голос и оглядываюсь – кто это сказал? Не могу поверить: это старуха! Заколдованная принцесса она, что ли?

– Не за что, – бормочу я.

И тут она продолжает:

– Ты свою пьесу играл после Баха? Сам сочинил?

Я сглатываю и киваю. Слышала меня! И разбирается!

– А у меня внучка музыку пишет. Пойдём, я вас познакомлю!

Я в некотором ошалениидвигаюсь к Валиному столу. Валя всё с таким же каменным лицом двигает меня ногой под столом. И только тут понимаю, что она еле сдерживает хохот!

В общем, я был сама галантность с Валиной бабушкой, угощал её печеньем «Зоопарк» и слушал, какая Валечка талантливая, в три года подобрала на пианино концерт Рахманинова (ну, или что-то вроде того; Валька меня под столом испинала, чтобы я не воспринимал всерьёз). А потом ноктюрном Шопена зазвонил телефон, и бабушка начала туда кричать: «У Валечки на концерте!» – и ушла с телефоном в коридор.

– А ты очаровал бабушку. Даже не думала, что так можешь, – говорит Валя.

Но мне не до бабушки. У меня даже ладони вспотели: что Валя скажет про мою музыку?!

– Последняя «до» в Бахе у тебя была очень красивая, – внезапно говорит она. Очень серьёзно.

Что, и это всё?! Всё, что я заслужил?..

– Только знаешь... Вот ты ошибся, и всё время думал об этом. А надо же дальше играть. Вообще неважно, что ты слетел с текста, – должен играть, жить дальше! Всё равно ничего не исправишь. Подумаешь об этом после концерта; а сейчас – играй!

А ведь она права! Я всю Прелюдию не мог избавиться от этой ошибки в голове. И ведь Т. говорила то же самое: «Ты думаешь назад».

– А чего, «Деревья» совсем не понравились? – не выдержал я.

– А я же их знаю. Ты, кстати, раньше лучше их играл.

– Откуда знаешь?!

Валя посмотрела мне в глаза и тихо сказала:

– Я иногда подслушиваю под дверь.

И опять стала смотреть в окно. И сразу вернулась её бабушка.

Я даже не сказал, как мне понравилась Валина музыка. Не успел.

Потом в двадцать пятый стремительно влетела Герда, и я с облегчением оставил Валу с бабушкой. Бедная Валя, конечно. Например, в Питер её точно непустили бы.

– Чего Баха стал играть? Сырой же, – сразу спрашивает Герда, не глядя на меня.

Злитесь. Не оправдал.

– Не сырой, – говорю я. – Я не знаю, почему ошибся.

– Ошибся – не страшно; надо было выплыть и дальше играть, а не рефлексировать, – она как будто повторяет Валины слова. – Нужно чаще выступать, иначе не научишься волнением управлять.

– Может, мне вообще не надо? Выступать? Не обязательно же?

– Обязательно. Ты сам с собой хочешь играть? Зачем? Это эгоизм! В общем, перед отчётным ещё устрою тебе концерт, обыграешься.

– Отчётным?.. Я разве прошёл?

– Ты что, сомневался? Думаешь, такие виолончелисты на дороге валяются?!.

\* \* \*

Я даже не успел обрадоваться, что прошёл на отчётный. Конечно, надо опять играть, и страшно; какой же я трус! Зато «на дороге не валяюсь», и потом...

И тут тренькнула смс.

«Питер отменяется», – прочитал я. Ещё прочитал, и ещё. Не понимаю ничего. Как так?!.

«Почему???»

«Я уезжаю», – написала Т.

«Куда???»

«В Ригу».

«То есть только у тебя отменяется?»

«Ну да. Повеселитесь там без меня».

Чёрт. Ну как так можно, почему она уезжает?!.

«Я тогда тоже не поеду», – написал я. Размечтался, как дурак! Нет, ничего хорошего у меня в жизни быть не может, такой уж я человек.

«Перестань. Поедешь, посмотришь. Будешь мне писать, как там и что».

Поеду. Без Т. Писать? Всю поездку писать Т.; надо будет узнать про льготные тарифы на телефон.

Интересно, а Моцарт поедет? Наверное, его не отпустят. Куда же он без Т.

Мне кажется, это я виноват. Если бы я очень хотел и постоянно думал только о Т., она бы поехала. А я с Валею трепался.

\* \* \*

В школе только и обсуждают поездку: что с собой возьмут, как будут чипсы есть и газировку пить всю дорогу. В «мафию» играть и в «шляпу». В принципе, поезд волнует всех даже больше, чем Питер.

А Т. ходит одна, будто у неё какая-то болезнь. Девчонки к ней не подходят особенно, да и она не стремится. О чём говорить, если она не едет?

\* \* \*

Я пришёл на специальность, а Герды нет. Класс закрыт. Звоню – не берёт трубку. Нормальный вообще человек, нет?!

Домой не хочется. Я пошёл наверх, к лимону в кадке. И не ошибся.

– Привет, – сказала Валя, – я тебя давно жду.

Ждёт?

– Я же не договорила тогда, про «Деревья». Понимаешь, у тебя одно за другим... будто тебе дали кубики, и ты из них строишь поезд. Красный кубик, потом зелёный. Потом пусть будет синий. Или жёлтый? Всё равно. Любой кусок можно поменять с другим местами. Так-то красиво, но вот форма. Расплывается. Ведь из этих кубиков можно и башню построить, и мост. Я непонятно говорю?

У меня горят уши. Я вообще не привык, чтобы меня ругали за музыку, вернее, не ругали, а вот так. И ведь мне становится понятно; Валя молодец, прямо как Т. Без восхищений, по делу.

– Да, я понял, – отвечаю я. – У тебя в фортепианной пьесе как раз конструкция чувствуется. Всё в такой узел завязано, очень крепкий.

Она молчит, потом вскидывает на меня ресницы. Ведь длинные ресницы, и глаза красивые, как у... Ну да. Почти одного цвета глаза, только у Т. чуть темнее.

– Мне не очень она нравится, – говорит Валя, – это задание было, фортепианная пьеса. И видно, как сделано, скелет виден как раз. Вот флейтовая лучше, живее.

Я хочу ей рассказать, как она была похожа на тропическую птицу, но не решаюсь.

И я говорю другое.

– Слушай, у нас один человек есть в классе. Музыка пишет, но очень необычную. Хочешь послушать?

Она кивает, и я надеваю ей наушники.

Валя закрывает глаза и слушает. А я разглядываю её лицо. Могла бы и парнем быть, с такими бровями и с таким носом. Но я уже привык – кто вообще выдумал, что для красоты нужен маленький нос? И что она скажет. Что? Может, ей не понравится, и я всё выдумал. И Моцарт никакой не гений. А? Меня даже начинает трясти от нетерпения.

Вот же длинную штуку написал этот Моцарт, умереть можно, пока ждёшь.

Валя открывает глаза.

– Это правда твой друг?

– Не друг. Одноклассник.

– Очень интересно. Необычно, но затягивает. Ты можешь меня познакомить?

– Нет! – ору я, Валя пугается. – Извини, я не хотел... Просто он странный, с ним трудно знакомиться.

– Да, слышно, что странный... Слушай, пришли мне это? Хочу ещё раз послушать.

...Зачем, зачем я ей показал?!.

\* \* \*

– Ты вообще думаешь собираться, нет?

Как, уже? Всё казалось, до Питера ещё сто лет; и тут – прямо завтра! Завтра! И конечно, оказалось, что любимый свитер грязный.

– Я же постирала, погладила... специально!

Нет, ну вообще. Свитер погладила! Ну, а я, такой идиот, надел сегодня и уже успел куда-то влезть.

А кеды? Почему нельзя кеды?

– Это же Питер! Там ещё холодно и сыро, в ботинках будешь ходить! Кеды вымокнут в секунду!

И куртку заставили взять. И ещё кучу всего. В такую-то жару, плюсовая температура! Я давно уже просто в руке ношу куртку эту, и всё.

...Ненавижу собираться. Когда же, когда!

Казалось, этот момент не наступит – но вот он я, с рюкзаком, и отец сейчас повезёт нас на вокзал.

\* \* \*

Моцарт всё-таки поехал. Ну и ладно, всё же он стал взрослее, может, не будет с ним никаких проблем.

Поезд! Ура. Как же давно я не ездил на поезде! Мне даже неловко перед Т., ведь её нет, а я радуюсь, как щенок.

Я, конечно, хотел быть таким гордым и романтичным, одиноко лежать на верхней полке, читать книжки, писать стихи. И, может, музыку.

Но тут же скатился ко всем и понял: я сто лет ни с кем вот так не смеялся! Не рассказывал анекдотов, не обливался кока-колой... Как так получилось, что в этом году я превратился в такого социопата? Мы же раньше и в футбол играли вместе. Почему я решил, что все тупые, а я умный? Надо было корчить из себя высокомерного идиота!

Мы играем в «мафию». Даже Моцарт меня не раздражает, хотя он орёт больше всех. Главное, он сразу убивает меня. В первой игре я и правда был мафией, всего пару минут, меня раскусили; но и во второй раз Моцарт голосует против меня. А я против него боюсь – разорётся ещё. И, кажется, все так – бояться. И Моцарт такой прекрасный остаётся в живых игру за игрой! Хорошие у нас ребята в классе, добрые все. Берегут его.

Удивительно: пришла классная, сказала, что мы орём ужасно. И что больше всех Моцарт. И он, вместо того чтобы возмутиться, спросил – сколько децибел можно. Она растерялась. И тут я говорю:

– Двадцать. Это уровень нормальной человеческой речи.

– Тебя не спрашивают, – говорит он.

– Тридцать, – говорит классная (думаю, наобум). – Но не больше!

...После этого в каждой игре Моцарт начинал громче всех орать, что кто-то превышает эти децибелы. Ну и ладно; всё равно.

Я написал Т., что мы в поезде, играем в «мафию», и Моцарт тоже.

«Поосторожней с ним, ладно?» – попросила Т.

Чего осторожней, он что, маленький?

«Ладно», – ответил я.

\* \* \*

Мне жалко было ехать на экскурсию. Зачем ещё, если просто – Питер; я бы ходил тут и ходил бесконечно. Вечно они хотят максимально набить событиями поездку. А я бы лучше останавливался на каждом мосту и смотрел на воду.

Меня поселили с Сашей Ручинским. Можно было бы с Сашей пойти гулять, а можно и одному. Одного, наверное, не отпустили бы?..

Но и так не отпускают: у нас план. Надо ехать куда-то, уже забыл куда. Автобус нас забирает с набережной.

Девчонки обязательно всё фотографируют, и селфи с мостом, и... Сколько можно всех ждать! Я занял удобное место, у окна, и пока без соседа. Хорошо.

На ступеньках автобуса перед задней дверью стоит Моцарт, грызёт замочек от молнии на куртке и смотрит на набережную. Потом выходит на улицу. Вот останется ещё, будет знать! Хотя я и сам бы вышел, не хочется в душном автобусе сидеть.

Я спустился к дверям, на его место. И вижу: он пошёл вниз по ступенькам, к самой воде. Вода высоко; нижние ступеньки лестницы скрываются и уходят в глубину.

– Два, четыре, шесть, – считает нас классная. А ведь правда, вот бы он сейчас остался. А мы бы уехали, отдохнули от него.

...Перед самым началом музыки дирижёр взмахивает палочкой – это называется «ауфтакт», как вдох перед пением; ауфтакт бывает меньше секунды, но музыканты оркестра успевают понять, когда и как им нужно играть, всем вместе.

И я будто услышал этот ауфтакт – ещё ничего не произошло, и я не успел ничего подумать. Просто шагнул из автобуса на тротуар, и всё.

И двери за мной закрылись.

Вот дурацкая шутка! Сейчас ещё правда уедут без нас!

\* \* \*

И они уехали. Я сначала не мог поверить – полный автобус народу, неужели никто не видел, как я вышел! И потом, классная нас считала. Не заметили двух человек!

Ладно я, но Моцарт! Они же глаз с него не спускают!

А этот псих и ухом не повёл. Стоит себе у воды, трогает её кроссовкой. Подошла волна от катера, он не успел отбежать – стоит, рассматривает свои мокрые ноги...

Вот и пусть как хочет теперь! Пусть! Конечно, ничего страшного не произошло – сейчас созвонимся, и за нами приедут. Но я не хочу пока звонить. Я хочу, чтобы он испугался. По настоящему.

Наконец он оглядывается. Я пригнулся, спрятался за бетонный столбик. Потом смотрю – он всё так же стоит у воды и немного качается с пяток на носки.

А потом он повернулся и пошёл вверх, на тротуар. И дальше, дальше по набережной – идёт и идёт. Я за ним. Потеряется же – что будет делать?

Светит солнце в глаза, и я вижу только силуэт – болтающаяся походка, будто пьяный. И локоть руки – я знаю, он её поджимает, как лапку – запястье вверх, кисть болтается. Идёт, идёт – куда он идёт?!

Я иду следом за ним, чтобы не потерять. Всё равно он не оглядывается, не увидит меня.

Навстречу старушка с собачками – маленькие, в пёстрых курточках, налетели на меня! Или я на них – словом, запутался в этих поводках, всего на пару секунд. Поднял глаза – где он? А, вот. Идёт, качается.

Я перешёл за ним дорогу – пришлось пропустить светофор, еле догнал! И только когда он свернул в переулок, где нет солнца, – только тут я увидел, что я иду за другим человеком. Это не он!

Я бросился назад, на набережную. Где он, где? Как я мог его потерять?!

Бежать дальше по набережной? А вдруг он уже не там?..

Мне вдруг перестало хватать воздуха. Совсем. И ноги ослабли. Как он? Что будет, как его искать!

Я облокотился на парапет. Рядом лесенка, ещё один спуск к воде. Вдруг он там? Ну, ведь может же быть, что он там!

...Я побежал туда. И когда увидел его, даже не поверил. Он и правда спустился к воде, стоит себе. Смотрит. Нашёлся.

Мне вдруг до ужаса захотелось его столкнуть. Столкнуть, и всё!

«Поосторожней с ним», – сказала Т.

В голове у меня его музыка. А потом она переходит в музыку Моцарта, настоящего – Вольфганга Амадея, двадцать первый фортепианный концерт, вторая часть.

Нет, он так и будет тут качаться до вечера. Надо его вытаскивать.

– Лёва, не бойся, я здесь, – сказал я и стал спускаться к нему.

Он обернулся, сверкнул на меня глазами, как сумасшедший, и резко выставил вперёд руки.

\* \* \*

Вода горячая, как кипяток; обжёгся, вынырнул – дышу. Через несколько секунд понял – ледяная. Но жить можно. Ничего. Я стремительно тяжелею – водой наливается одежда, кроссовки... Я хорошо плаваю, но в одежде тяжело – надо же, как глубоко, дна не достать!

Он смотрит на меня сверху. И вдруг я понимаю – мне не выбраться. Я поставлю руку на ступеньки – а он стукнет меня пяткой.

Так-то. Моцарт отравит Сальери и будет жить дальше. Ну, то есть не отравит, а утопит. Ещё лучше.

Тьфу, ерунда какая – я подгребаю к берегу, пытаюсь найти ступеньки, как скользко! Не могу ухватиться. Он стоит и смотрит.

– Чего смотришь! Руку дай, идиот!..

Моцарт смотрит на меня. Это последнее, что я увижу в своей жизни, – огромный Моцарт, как памятник. Где же эти ступеньки, нет их, что ли! Только одна под водой, а дальше скользкий обрыв. Как глупо, я реально не могу выбраться!

...Вдруг он опускается на колени. И протягивает мне руку. Рука тёплая и крепкая, и он тащит меня, тащит.

Никогда не думал, что он такой сильный.

\* \* \*

Стою на четвереньках, отфыркиваюсь, как собака. Меня трясёт. Вода льётся; я выжимаю куртку, выливаю из кроссовок – а остальное как? Зубы стучат – пытаюсь сжать их, и всё равно клацают.

– Что нам делать, что нам делать?.. – спрашивает Лёва.

– Звонить нашим.

Я стою ступенькой выше, с меня течёт. Хлопаю себя по карманам. Нет телефона! Неужели он утонул?

– У меня тоже нет. В рюкзаке остался, – говорит он.

Нет телефона. Вот мы влипли.

Лёва – я вдруг вижу – плачет. Слезами, как маленький. Значит, я старший, должен что-то придумать.

– Поехали обратно в гостиницу, на метро.

Сейчас посмотрю в навигаторе, как ехать. Тьфу! Навигатор же в телефоне тоже!

...Мы выбрались наверх, на тротуар. С меня так и льёт, у Лёвы мокрые колени. Рядом машины стоят, пробка перед светофором.

– Мальчики, что случилось? В воду упали? – приоткрылась дверь маленького жёлтого «Матиза». – Садитесь скорее!

– Я мокрый, залию вам всё, я не могу...

– Поэтому и садись! Бегом!

Я открываю заднюю дверь и вижу детское кресло. Впихиваю Лёву в машину и сажусь следом. Зажёгся зелёный, и наша спасительница жмёт на газ.

– Подрались, что ли?

– Нет, – говорю я. – Поскользнулся.

Лёва молчит. Будто не он меня спихнул в воду.

– Бывает... Куда едем, адрес?

Лёва говорит адрес. Вот башка у него, всё помнит!

– Ладно, недалеко... Вы братья? – вдруг спрашивает она.

– Да, – говорю я.

Лёва несколько секунд смотрит на меня и говорит:

– Нет.

Потом я пытаюсь рассказать, что мы здесь с классом на экскурсии, отстали от автобуса.

Она почти не слушает, звонит по телефону:

– Артём! Я задержусь, срочное дело. Поешь сам! Котлеты в холодильнике, в сковородке, только разогрей! Нет, нельзя холодное! Что, так трудно разогреть?! Да скоро я, скоро!

Мне почему-то становится смешно. Хотя я сижу в луже, кажется, и Лёвка уже в луже – так с меня течёт, стараюсь только на сиденье детское не капать.

– Так вы приезжие? У вас учителя с ума сходят, искать вас будут! Вы им позвонили?

– Телефона нет...

– Та-ак. Значит, будут вас искать. В полицию пойдут. Меня найдут, решат, что я украла детей.

– Не найдут, – говорит Лёва.

Она начинает смеяться. А потом говорит серьёзно:

– В гостинице сразу скажите: будут звонить – вы здесь! Чтобы не волновались.

Я киваю. А потом спрашиваю:

– У вас двое детей?

– Почему ты так решил?

– Ну, Артёму вы звонили, и ещё кресло...

– Четверо.

– Ничего себе!

– Ой, поворот пропустила!

Она судорожно тычет в навигатор, не сбавляя скорости. Я решаю её не отвлекать.

Она и музыку выключила, вернее, убрала звук. На экране проигрывателя слово «Fragile». Значит – хрупкое. Я знаю эту песню, её Стинг поёт. «Now fragile we are».

Мы молчим, только Лёвка мычит. И я вдруг обнаруживаю, что моя злость на него прошла. Абсолютно. Меня даже не раздражает его пение. Он просто испуганный ребёнок, и всё.



Он... он хрупкий. Ведь если бы он остался один, в чужом городе – испугался бы. Вдруг в нём бы что-то сломалось? Внутри?

...Лида как-то мне рассказала такую притчу: один человек умер и спрашивает у Бога: зачем я жил? В чём было моё предназначение? А Бог ему отвечает: помнишь, вы у Петрова день рождения отмечали, и тебя попросили соль передать? Вот оно и есть. Для этого момента ты и жил; соль передал, справился, зачёт.

Может, я, Кирилл Комлев, нужен только для того, чтобы спасти Моцарта? Вот сейчас: подхватить и не дать ему сломаться?

Лёва гудит, поёт тихонько. О чём он сейчас думает?

Вдруг я узнал. Он поёт концерт Моцарта. Тот, который всё утро у меня в голове.

– Моцарт? Двадцать первый концерт?

– Да, наверное, – говорит Лёва.

– Вы музыканты? – спрашивает она.

– Да, – говорю я.

– Нет, – говорит Лёва.

\* \* \*

В гостинице мы взяли ключи, и я спросил – не искали нас? Нет ещё. Попросил сказать, что мы здесь.

– А вы им сами не можете позвонить? – спросила девушка-администратор.

– Телефона нет.

– Номер не помните случайно?

– Я помню, – сказал вдруг Лёва.

Ну, как так! Что за человек – он всё это время знал телефон, но ему не пришло в голову сказать!

– Чего молчал, если знаешь?!

– Не спрашивали. Я не подумал...

Не подумал! Как он жить будет?!

Звонить страшно, но ещё страшнее – если учителя позвонят родителям: потерялся ваш мальчик... Сжал кулаки, чтобы голос не дрожал: меня опять трясёт от холода, когда уже можно будет всё это мокрое снять!

– Марина Сергеевна, это Кирилл. Мы с Лёвой в гостинице. Да, Лёва со мной! Да, всё в порядке, не переживайте! Да-да! Да, извините! Да я не думал... Да всё в порядке с Лёвой! Я его не оставлю!

...Нормально вообще. Они нас даже не хватились.

Я её убедил, что к нам не надо ехать; что у нас всё нормально. Конечно, про моё падение в реку им знать не обязательно. Не Лёва же упал!

Да, и я только сейчас понял – не знаю даже имени нашей спасительницы, мамы неизвестного Артёма и ещё троих детей. Я её спросил – может, денег выслать вам на карточку? Она покачала головой: «Твой возраст тебя извиняет, а так это очень обидно. Потом поможете кому-нибудь просто так. Может, в другой раз моих детей кто-то не бросит в трудную минуту».

Бывают же люди.

\* \* \*

Я стою под горячим душем. А в голове то Моцарт, Вольфганг Амадей, то вот эта песня Стинга, про хрупкость, то Лёвкина музыка – всё вместе. Лёва пошёл в мой номер, не спрашивая

– сел на кровать и сидит. А я стою под тёплым душем и отогреваюсь сразу со всех сторон. Главное – изнутри.

Кажется, я никогда ещё не был так счастлив. Свободен и счастлив.

\* \* \*

Всё же как хорошо, что мама впихнула мне в чемодан ещё один свитер! Я переоделся в сухое, развесил мокрую одежду на блестящей трубе в ванной. И нырнул под одеяло. Тепло! А Лёва так и сидит у меня, стучит рукой по спинке кровати. Наверное, надо с ним о чём-то говорить.

– Лёва, я слушал твою музыку.

– Ну и что?

– Она... Она мне очень нравится. Правда. Ты где-то занимаешься?

– У меня есть друг. Друг. Такой друг, Рома. Он меня у-учит.

Лёва начинает заикаться, ему трудно говорить, когда волнуется. Раньше меня это злило, а сейчас совсем нет. Какой ещё Рома?

– Он пианист. В ко-консерватории учился. П-потом попал в аварию, руки... Руки плохо работают, но всё равно. Он очень хорошо всё объясняет. Теорию музыки.

Вот! Я же говорю – теория музыки! Это всё не просто так из головы! Он тоже поверяет алгеброй гармонию!

Вдруг Лёва вскакивает, начинает ходить по комнате и говорить. Это как водопад: он рассказывает мне про цвета – как он видит ноты цветными; и как всё это связано у него в голове: цвет, музыка и числа; и как он пробует разное, но это совсем не то, что он хочет. А так, как хочет, пока не получается.

А я рассказываю ему, что искусство развивается по спирали. Что всё повторяется, но на новом уровне. И ещё спрашиваю:

– Как думаешь, куда ведёт эта спираль? К какой точке?..

– Почему к точке? Она же не сжимается. А наоборот – расширяется. Бесконечно. В космос.

Почему мне это в голову не пришло?! Так просто!

А он перестал ходить, остановился и спросил:

– Откуда ты вообще знаешь мою музыку?

– Мне Соня показала. Она всё время про тебя говорит, какой ты гений.

– Соня? Нет. Соня всё время про тебя говорит.

– Что?..

– Примерно... примерно восемьдесят пять процентов того, что она говорит, – про тебя. Какой Кирилл умный, какие у него стихи, какая музыка. Тебе, может, чаю принести?

– Чего?

– Чаю. Горячего. Чтобы не заболеть. В коридоре кулер, я видел. У т-тебя зубы стучат! Смешно так. Д-д-д!

Он смеётся и изображает, как я дрожу.

...Наверное, мне всё это снится. Не может быть, чтобы Лёва решил принести мне чаю. У него же отсутствует это – чувство других людей! Он же эгоист!

Я ничего не понимаю в этом человеке. Я только не хочу, чтобы он уходил. Даже за чаем.

Но этот псих приносит мне холодную воду: перепутал, не сообразил, что горячая есть. Всё нормально; обычный Лёва, как всегда.

\* \* \*

Нам, кстати, почти и не влетело. Я объяснил, что выскочил за Лёвой – хотел его позвать. А автобус взял и уехал. В общем, они же сами и виноваты.

Видят: Лёва в порядке, и успокоились. Учителя так обрадовались, что мы нашлись, – даже решили всему классу по пирожному купить. Картошке. Я не очень люблю, но тут какое-то сумасшедшее вкусное оказалось.

И мне даже стало жалко, что Лёва ушёл. Что я живу с Сашей Ручинским, а не с ним.

Мне хочется говорить с Лёвой. Он мне теперь не мешает, а наоборот.

Как я не видел раньше, какой он; с ним я могу пробить вот этот потолок, который раньше давил на меня.

\* \* \*

У мира есть начало,  
Но нет конца.  
Вагон отправился  
С трамвайного кольца,  
Но не по кругу, а по лучу:  
Ведь рельсы кончились,  
А я – лечу!  
Есть предложение,  
А точки – нет,  
И в отражении  
Бессмертен свет,  
И есть начало, но нет конца.  
А космос – продолжение твоего лица.

Перечитал. Начал набирать Т. – и бросил. Конечно, есть абстрактное понятие «прекрасная дама», Т. это знает и не принимает на свой счёт. И сто раз я ей такое отправлял; даже и не такое. А сейчас почему-то не могу, не готов показать ей последнюю строчку.

Да и стихи, в общем, не блеск. С размером вообще никак.

Всегда видно, нарушен размер от свободы или от беспомощности.

И вот это «бессмертен свет» безобразное какое-то, хотя свет может отражаться до бесконечности, нам на физике рассказывали.

Ладно. Ночью чего не напишешь.

\* \* \*

В последний день нам устроили игру, вроде «Что? Где? Когда?», мы проиграли (а выиграла команда, где Лёва и Никифоров, что неудивительно), разошлись поздно. Я пошёл проводить Лёву до его номера. А потом он меня – до моего. А потом мы пошли на самый верхний этаж гостиницы, посмотреть, какой там вид из окна.

– Соль минор синий, – объяснял мне Лёва, – не как твоя рубашка, а как бывает небо вечером. Сейчас не видно, а на улице бывает такой цвет. А ещё бывает такой серо-зелёный, это ми минор, знаешь? Такой... Такой, как глаза бывают. Вот у Сони. Да, Соня тебя любит.

– Что? – оторопел я. – С чего ты взял!

– Она мне сама сказала, – пожал он плечами. Будто сообщил, что Волга впадает в Каспийское море.

– Врёшь ты всё!

– Я никогда не вру. Не научился.

Это правда, он никогда не врёт.

Мы, кажется, ещё о чём-то говорили. Когда я вернулся в свой номер, мой сосед Саша уже спал. Надо же, человек поехал в поездку и спит!

Я долго смотрел в окно из тёмной комнаты и вертел телефон в руках. А потом написал Т.: «Сонька! Ты мой Трицератопс навсегда!»

И она тут же ответила: «Вы чего там, напились все, что ли?!..»

\* \* \*

На обратном пути некоторые ещё пытались играть в «мафию», но всё же большинство свалилось спать. А мы с Лёвой стояли у окна, где бак с горячей водой. И смотрели в окно.

Лёва рассказывал про Шёнберга.

– Он изобрёл такую систему, додекафонию. Никто не любит, а я люблю. Очень гармоничная музыка, а бабушка говорит – какофония. Да, ты знаешь Сонин адрес?

– Конечно. Мы же соседи!

– Да нет, новый, в Риге. Она же уехала.

– Не насовсем же уехала!

Лёва смотрит на меня испуганно и молчит, хлопает глазами:

– Н-насовсем. Разве она тебе не сказала?

Я закашлялся, никак не могу вздохнуть. Побежал в туалет – занято. И я изо всех сил треснул кулаком по баку с кипятком.

Выглянула проводница, попросила поосторожнее.

Я смотрю в темноту. Ничего не видно, только наши отражения.

\* \* \*

Честно сказать, я не поверил. Хотя Лёва никогда не врёт: но, может, он не понял? Как такое может быть! Не сказала, не попрощалась! Ну как?..

А когда мы заходили домой и я увидел её дверь – понял: мой Трицеро уехал. Её здесь нет.

– Чего такой скучный? – спросила мама. – Понравилась поездка?

– Да, – говорю, – очень. Жалко, что кончилась.

В общем, мне удалось как-то заболтать, вытеснить из сознания Сонин отъезд. А ночью проснулся и вспомнил.

Достал наушники; слушал сначала Моцарта, двадцать первый концерт. А потом Лёвкино, и оно подошло лучше. И мне теперь стало понятно, почему он называет свои композиции «Кирпич в песке» или «Жёлтая шестиэтажка». Это просто цвета или их сочетания.

Одна пьеса называлась С-256. Что такое 256, мне не очень понятно; зато я, наверное, знаю, что такое С.

Когда ты один, ночью, можно не задирать голову, чтобы слёзы остались внутри.

\* \* \*

Мы сидим с Лидой на диване с ногами, пьём кофе. Родителям я не рассказал про свои приключения, а Лиде – да.

– Я знаю, что в чужие машины нельзя садиться никогда и ни за что. Но тут даже подумать не успел – она точно хотела помочь! И я даже не знаю, кто она и как ей сказать спасибо...

Лида говорит то же самое:

– Кому-нибудь поможешь, вот и отблаговаришь.

Ещё я рассказываю Лиде, что Герда пропала, не звонит. Все меня бросили, все уехали, одна Лида осталась!

– А ты ей звонил? – спрашивает Лида. – Герде?

– Эсэмэску написал... Не отвечает.

– Эх ты, эсэмэску... А может, она никуда не уехала? Вдруг с ней что случилось? Обиделся, как красная девица. А у неё ведь никого нет, кроме учеников...

А ведь точно! Мне и в голову не пришло!

Я страшно испугался. За Герду. От страха не мог позвонить даже. Автомобильная авария. Или ещё что. У неё же руки дрожали, вот я дурак!!!

Потом вышел из дома, как будто за хлебом, и поднялся на самый верхний этаж. И оттуда уже набрал её номер.

– Герда Вальтеровна? У вас... у вас всё в порядке?

– Наконец-то, – отвечает она. Голос ещё ниже, чем всегда. Но у меня гора с плеч – ответила!

– Я... я в Питере был, с классом. А вы?

– Я в больнице, Кирилл. Но уже всё нормально – не хотелось тебя беспокоить.

– Как... Как в больнице, в какой!

– Я же говорю – всё в порядке. Хотя работать я пока не смогу, экзамен сыграешь без меня. И отчётный тоже.

– Какой... да плевать мне на экзамен! А вы... я... Можно вас видеть?

– Зрелище не очень прекрасное... Не надо, Кирилл, спасибо.

Я впервые понял: она говорит одно, а думает другое. Она хочет, чтобы я приехал.

– Какая больница? Адрес скажите! Адрес!.. Герда Вальтеровна!!!

\* \* \*

Я не узнал её. Непонятно, куда делась Герда – одни старухи в палате. Одна даже в наушниках, с закрытыми глазами. Но... нет, это не она!

– Пришёл всё-таки. Просила же. Ну, чего теперь. Выйди на минуту, я постараюсь человеком стать.

Старуха в наушниках открыла глаза и стала немного похожа на Герду. Совсем чуть-чуть.

Я выхожу в коридор и залпом выпиваю два стакана воды из кулера.

Возвращаюсь – Герда сидит на кровати в своей клетчатой рубашке, красит глаза. Да, это она.

– Кофе принеси мне, Кирилл. Там, в автомате есть. Ужасный, но что делать.

– А... Вам можно?

– Начинается! Мне всё можно, давно уже. Если ничего нельзя, так ложись и умирай сразу.

...Я приношу кофе и спрашиваю:

– Что слушаете?

Она отдаёт мне наушники.

Я беру одно ухо, а второе отдаю ей. Она сидит, а я стою – это неудобно; и мне хочется, наоборот, сесть на пол – но тут же нельзя, наверное? Больница?..

Музыка незнакомая. Но догадаться легко.

– Моцарт?..

Герда улыбается:

– Видишь, а ты говорил. Говорил, что Моцарт не отличается от других – просто те же ноты в другом порядке.

Яжимаю плечами. Ну, можно ведь сказать, что я просто угадал! Отдаю наушники и нахожу наконец себе место: сажусь на подоконник.

– Отличается, отличается, – говорит Герда. – Особенно если целиком слушать, а не вот так. Понимаешь, у других мелодия могла бы пойти и так, и иначе. По-разному можно: ну, пусть так. А у Моцарта всегда единственно верный путь. Будто начал – и ровная леска тянется до самого конца, натянутая. Кстати, я его не любила раньше. Только в этом году начала слушать его столько.

...Я вспомнил, как принёс ей конфеты с Моцартом. А она сказала, что не любит их. Ну, был конец года, что ли. И многие принесли подарки: она сразу раскрывала коробки и угощала всех подряд. Я тогда объелся, живот болел даже. А потом, когда все ушли, она мне и сказала: «Я Моцарта люблю в чистом виде. А конфеты нет». То есть другим ученикам не сказала, чтобы не обидеть. А со мной можно. Я именно тогда почувствовал, что я ей не как все.

– Помните, вы говорили, что музыка развивается по спирали? – спрашиваю я. – Но получается, что Моцарт единственный и никогда не повторяется?

– Моцарт единственный. И Бах. Две скалы. Равновеликих им нет. Думаю, Бах тебе сейчас ближе, да?

– Да.

Это правда. Баха я очень люблю. Есть сольный Бах для виолончели – только виолончель, и всё. Одна. Моя Прелюдия как раз такая. Из «Шести сюит для виолончели соло»; когда-нибудь я сыграю их все. Хотя они и очень сложные.

– Конечно. Ты хорошо Баха слышишь, Кирилл, хотя играть пока не умеешь. Научишься: внутри есть, достанешь. Моцарт – это совсем другое, это про радость жизни. В юности это не очень понятно.

– Про радость? А как же «Реквием»?

– «Реквием»? Кстати, это ещё не самое трагическое произведение. У Моцарта есть и...

...Я не всё понимаю и не всегда соглашаюсь – иногда специально спорю, потому что Герда это любит. И через несколько минут она опять Герда, как раньше. Только чуть-чуть меньше и легче. Похожа не на подростка, а, скажем, на третьеклассника.

У меня постепенно рассасывается ледышка внутри: всё нормально.

\* \* \*

Экзамен я сдал. Играл не очень, но поставили пять с плюсом. Думаю, это для Герды плюс, а не для меня.

Зато Валя мне подарила музыку. По-настоящему подарила: пьесу для виолончели. Я попробовал играть, но не смог сразу. Очень сложное, надо учить.

– Это мне слишком. Слишком большой подарок, Валя. Я даже не знаю... мне нечем тебе будет отдавать.

– Ты уже отдал. Я никогда ни с кем не умела разговаривать, а с тобой могу.

...Я покраснел и хотел сказать, что мне надо к Герде. Потому что стало как-то... неуютно. Неловко.

Валя исключительная, особенная. Но я привык, что ли. Как ей трудно всё-таки. Вот напишешь такую пьесу, как её флейтовая, и потом все ждут от тебя необыкновенного. И нужно всё время прыгать выше головы.

Мне с ней очень хорошо говорить, с Валею. Но я будто единственный человек для неё. Она больше ни с кем не разговаривает; и всё время ждёт меня. Страшно же.

И вдруг она говорит:

– Знаешь, я еду в Мюнхен.

– Куда?

– В Мюнхен. Там будет музыкальный лагерь, я всё думала, что не получится, или меня не отпустят, или визу не дадут. Но всё получилось.

– Когда?

– Послезавтра.

Я даже растерялся. Надо же, а я ничего не знал, молчала, как партизан. Вот это выдержка. А потом обрадовался – поедет! Может, познакомится там с кем-нибудь. И тут же стало неловко: будто я её спихиваю. Но ведь мне правда хочется, чтобы у неё была жизнь, друзья разные, я же не могу её за руку водить все время!

...И вдруг стало обидно, что она так скоро уедет.

– Ты мне напиши, ладно? – сказал я.

\* \* \*

Герду выписали домой; мой отец отвёз её из больницы на машине. Видимо, у неё и правда нет никого близких – только папа смог. Больше никому.

Я пришёл к ней после экзамена. А у неё... у неё моя мама сидит!

– Ого, – говорю я.

Потому что она не просто сидит, скажем, кофе пьёт. Она сидит за виолончелью.

– На чём мы остановились? – спрашивает Герда.

– Ну, нет! – качает головой мама. – Я при Кирюхе не могу.

– Как же вы дома заниматься собираетесь? – спрашивает Герда.

– Чего? Как заниматься?! – не понимаю я.

Мама смеётся:

– Вот, решила на старости лет. Когда человек ходит на работу с виолончелью, начинает себя чувствовать виолончелистом.

Вот это номер! Они с Гердой занимаются!

Всё же ерунду я выдумал тогда про Лиду: конечно, я мамин сын, не Лидин, тут и думать нечего.

Потом мама уходит, а я остаюсь. Герда дома стала похожа на саму себя, и мне не хочется от неё уходить.

Рассказываю ей про Лёву. Что у меня есть такой одноклассник, совершенный псих – с цветным математическим слухом, любит Шёнберга и хочет придумать свою музыкальную систему.

И что спираль раскручивается наружу, до бесконечности.

– Ты его выдумал? – не верит Герда.

– Нет. На самом деле!

– То есть ты хочешь сказать... хочешь сказать, что жизнь прекрасна и удивительна?

\* \* \*

Жизнь и правда прекрасна и удивительна. Особенно сейчас.

Мы с Соней катаемся на роликах. Это кажется невозможным, я не верил до последнего, что всё получится. У Лиды оказалась какая-то в Риге книжная ярмарка, что ли, или конференция издательская, я не понял. И она говорит: возьму племянника с собой! И отец, главное, хоть бы слово против. Сказал мне только: «У тебя же троек годовых не будет?»

Будто я перешёл на новый уровень, что ли.

Я и сдал всё без троек, вернее, почти всё. Даже алгебру. А геометрию не смог, хотя Лёва мне объяснял довольно толково.

Мы с ним пришли к Эпплу. И я сказал, что никогда раньше ничего не просил и всё понимаю. Что это нечестно, и он не имеет права, – но сейчас прошу четвёрку вперёд, в следующем году я исправлю. Потому что мне умереть как надо в Ригу.

И Лёвка ляпнул: Кирилл едет к Соне. К нашей Соне, которая уехала. А с тройкой его не пустят. А геометрию он выучит, мы обещаем. Мы.

...Ведь Лёва не должен был мне помогать, а?..

Эппл сказал, что так нельзя. Что он не имеет морального права. Но если в этом моё счастье...

В общем, четвёрку я получил.

Отчётный концерт отменили. Что-то случилось – прорвало трубу в концертном зале, и теперь там ремонт. То есть не совсем отменили, а перенесли на осень. И хорошо. Я без Герды не хочу играть. А к осени я выучу Баха и свои «Деревья» получше. Или даже напишу новое. У меня теперь иногда такая музыка в голове, какой раньше не было. Но я пока боюсь её играть.

...Даже когда уже мы получили визы, когда купили билеты – мне всё казалось, случится что-то такое, и я не поеду.

Но мы уже в поезде! Едем!

Лида смотрит в окно и улыбается. Удивительно, как она может так долго смотреть в окно – и не читать ничего, и не разговаривать? Просто смотреть.

– Слушай, – спрашивает она меня вдруг. – А Костя этот, он нормальный вообще?

– Какой ещё Костя?

– Да учитель твой, который мой сосед.

Да, ведь оказалось, они с Лидой в одном доме живут.

– А, Эппл! Ну, как сказать... Математик он!

– Я уже поняла, что математик! – смеётся она. – Напросился на кофе и два часа мне объяснял теорию струн!

– Ого! А ты ему про раннего Блока, да? – шучу я.

Лида вдруг перестала смеяться:

– Про позднего... а ты откуда знаешь?..

Тут уже я смеюсь, не могу остановиться! А потом говорю:

– Ты зачем тогда спрашиваешь, нормальный он или нет?

– Я ему ключи оставила. Кошек кормить, и Байрону нужно колоть антибиотик, он научился уже.

– Кто, Эппл? Колоть антибиотик?! Ключи... Слушай, Лида. Он, в общем, такой же нормальный, как и ты.

– Сомнительная, прямо скажем, характеристика.

– По крайней мере, за своих котов можешь не переживать.

...За окном мелькали деревья и чья-то обычная жизнь. Лида уткнулась в книжку, а я сидел в наушниках, слушал музыку и думал: вот она не совсем нормальная, оставила ключи



чужому человеку. А может, уже и не чужому: Эппл тоже не вполне нормальный! Да есть ли кто нормальный рядом со мной? Лёва, Валя... Герда, конечно, тоже никак не похожа на обычную учительницу музыки. А вот эта незнакомая женщина, которая посадила в свою машину двух мокрых балбесов, совершенно чужих. А мой отец? Тот, кто писал стихи на крыше, кого я совсем не знаю... Нет, все вокруг меня – не совсем обычные люди.

А я? Я сам-то какой? И хочется ли мне вообще быть нормальным, нет?

\* \* \*

...Я поверил, что приехал в Ригу, только когда Т. – то есть Соня – открыла мне дверь. А потом стояла и смотрела на меня. У нас в классе все обнимаются при встрече, но мы с Сонькой никогда. И я ещё подумал – сейчас-то можно, нет? И опять не решился.

– Я никак не верила, что ты приедешь, – сказала она.

Потом её родители долго нас кормили; а её папа вдруг спросил: «Какой у тебя размер ноги?»

Оказалось, сорок второй, как и у него; и он дал мне свои ролики. И вот мы с Соней едем вдвоём. Рассекаем. Она связала кеды шнурками и повесила через плечо, и я тоже так сделал: смешно получается, как будто на пляже. И сначала мы просто едем и молчим. А потом начинаем говорить. Конечно, понятно, о чём. О ком.

– Кирилл, – говорит она, – я, знаешь... Я ведь очень переживаю за Лёву.

– Я знаю.

– Вы ведь очень похожи. До ужаса похожи, будто братья! Как из одного конструктора сделаны. Только у него пары деталей не хватает.

– Или лишние.

– Да, наверное. Лишние. Но вы иногда мне пишете одинаковые эсэмэски! Один в один! Как близнецы.

Эээ... Это как-то неприятно. То есть я, значит, мучаюсь, сочиняю ей письмо – а Лёва ей такое уже послал?!

– Да, только он в пять раз длиннее пишет.

– И ты всё это читаешь?

– Ну да. Ему же нужен кто-то... слушать. А мне интересно. Очень.

– Значит, и про Питер он написал тебе? Что там было?

– Про Питер? Нет. Он про устройство мира больше, – Соня смеётся.

А потом вдруг становится серьёзной.

– Ему нужен кто-то, Кирилл. Для связи с миром. Проводник. Понимаешь? Он умный, интересный, но у него... у него другая операционная система. Нужен адаптер.

У неё волосы выбились из резинки и зацепились за шнурок, которым кеды перевязаны. На плече. Мне хочется поправить, но я не решаюсь. И на несколько секунд отключаюсь, не слышу, что она говорит.

– Я могу тебя попросить? – продолжает она. – Помогать ему. Я же могу только переписываться, а ты рядом. Я понимаю, что...

– Ты ничего не понимаешь. И просить меня об этом не надо.

– Совсем? Кир, я не могу понять, как ты, такой, и не понимаешь! Как ты не понимаешь!..

– Не надо просить. Совсем. Мы... Мы с твоим Лёвой теперь... ну, вроде друзья.

– Смеёшься, что ли?

– Нет. Он меня в Питере в воду толкнул.

– Что? Как это?!

– Прямо в Мойку, прямо в Мойку... как Мойдодыр.

– Ничего не понимаю. Ты можешь нормально рассказать?

Я рассказываю. Никому не говорил, кстати, что Лёва меня толкнул. Потому что не поймут. А Соня поймёт – он не специально, так получилось. И ещё я рассказываю ей про Моцарта и Сальери. Как я решил, что Лёва – Моцарт и мешает мне жить. А мешало что-то другое, внутри моей головы. А сейчас оно исчезло.

Надо же, мне всё это казалось таким серьёзным. А сейчас, когда я говорю об этом вслух – ерунда. Какой я был... ну, дурак просто. Сальери. Выдумал тоже.

...Вообще я хотел поговорить о другом. Но так и не решаюсь спросить – говорила она Лёве или нет. То, что он мне передал тогда, в Питере, на последнем этаже гостиницы. И если говорила – правда это или нет. То есть Лёва никогда не врёт, конечно; но ведь сама Соня могла и соврать. Чтобы, скажем, Лёва тоже не думал себе лишнего.

Но мне непонятно, как об этом говорить. С чего начать.

И потом, может, Соне тоже непонятно? Разве я могу спросить: я или Лёва? Если и я, и Лёва – это-то я понимаю. Что мы оба ей нужны. И что мы втроём как-то связаны. Может, даже на всю жизнь.

По крайней мере, я его никогда не брошу. Потому что мне он нужен, очень. С кем ещё поговоришь так.

Поэтому я говорю про музыку, как хожу с ней в голове; и что моя музыка повторяет старое, а Моцарт, то есть Лёвка – особенный.

– Моцарт? Вот ты дурак, Кир, честное слово. Он, конечно, необыкновенный, но из него такой же Моцарт, как... Как из тебя Сальери. Зачем ты вообще сравниваешь? Ты – это ты. Я же, скажем, не пишу ни музыки, ни стихов. И что мне теперь, страдать своей неполноценностью?

– У тебя талант, – говорю, – видеть других людей.

Как можно себя ни с кем не сравнивать! Есть же объективные вещи. Скажем, очевидно: Соня катается на роликах лучше меня; и сейчас она улетела вперёд, а я никак не догоню... сейчас... бац!

– Руки?! – Соня испуганно разворачивается и едет ко мне; я и сам сразу думаю про руки. Шевелю пальцами – всё в порядке, хорошо упал, удачно: слегка плечом и голова немного кружится.

Соня подаёт мне руку. Чтобы я встал. Голова кружится ещё сильнее, но это не от падения.

Я никогда раньше не брал её за руку. У неё очень узкая ладонь и длинные пальцы. Сухие и горячие, даже горячее моих.

– Думаю, Моцарт катался бы на роликах. Если бы их тогда изобрели, – говорит она.

Я представляю себе Вольфганга Амадея в парике и на роликах; как он рассекает где-нибудь в Вене. По брусчатке, ага.

– А Сальери не стал бы, – отвечаю я. – Он бы ездил в экипаже, потому что он человек серьёзный. Хотя... хотя нет. Сальери ведь музыкант, не мог он быть вот таким – чтобы совсем... живой же человек. Он, наверное, всё же любил ходить пешком. И смотреть, как устроен мир. Не всегда же нужно писать гениальную музыку. Иногда достаточно просто смотреть.

– Но всё-таки он был слишком серьёзный, как думаешь?

– Думаю, да. А я? Я серьёзный?

– Ты?! На себя посмотри, какой ты серьёзный! Вообще не похож. Так что ты никакой не Сальери, – говорит Соня. – Выдумал тоже! Забудь и не вспоминай никогда.

– А кто?..

– Смешной ты, Кирюха. А то не знаешь. Ты мой Паразауролоф навсегда!